Сам овца

Автор:
Андрей Макаревич

Сам овца

Андрей Вадимович Макаревич

В книге Андрея Макаревича время оживает: можно побывать на первых подпольных концертах «Машины времени», студенческих сейшенах на югах; прогуляться по Стриту в длинных клешах; снова попробовать портвейн за рубль сорок семь; услышать чарующие звуки «Битлз».

Это не просто автобиографическая проза. Это зарисовки эпохи, иногда лиричные, иногда философские, иногда парадоксальные, а порой и откровенно смешные.

Андрей Макаревич

Сам овца

© Макаревич А., 2010

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2010

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Сам овца

Исключение опровергает правило

Когда я был совсем маленьким, моему отцу доставляло огромное удовольствие, посадив меня к себе на колени, заговорщическим тоном промолвить: «Молодец – против овец. А против молодца?..» И я, замирая от восторга, торжественно произносил: «Сам овца».

Это необыкновенно радовало моих родителей. Мне же в ту минуту виделась картина, не имеющая никакого отношения к истинному смыслу пословицы.

А видел я бескрайнее туманное поле – поле предстоящей битвы. Слева располагалось русское войско – на конях, в островерхих шлемах, как в фильме «Александр Невский». Справа до горизонта мрачно теснились овцы. От человеческого воинства отделялся и выезжал вперед Молодец – витязь-богатырь вроде Микулы Селяниновича. Навстречу ему из стада овец выдвигался их предводитель – мощное и свирепое животное: Сам Овца. Они медленно сближались.

Поединок Молодца и Самого Овцы определял исход всей дальнейшей битвы. Картина получалась грозная и торжественная.

Только много лет спустя мне вдруг открылось общепринятое прочтение этой крылатой фразы. И я, надо сказать, был сильно разочарован ее убогой назидательной мудростью.

Конечно, в детстве я был не один такой странный. Два моих товарища в разное время признались мне, что первая строчка русской народной песни «Шумел камыш, деревья гнулись» вызывала в их сознании образ некой мыши-шумелки, которая, видимо, шумела так, что гнулись деревья.

Эстрадная песня со словами «Долго будет Карелия сниться, будут сниться с этих пор остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер» читалась моим другом Максимом Капитановским следующим образом: «Долго будет Карелия сниться, будет сниться с этих пор: остроконечно ели ресницы над голубыми глазами озер».

Макс в детские годы боялся этой песни. Действительно, если кто-то ест ресницы, да еще как-то остроконечно – согласитесь, это, в общем, жутко, и даже задушевный вокал Марии Пахоменко не спасает ситуации.

Мне артистка Пьеха примерно в то же время загадывала другую загадку: в строчке «К цветку цветок сплетай венок – пусть будет красив он и ярок» я никак не мог понять, кто такой униярок и почему его красота зависит от плетения венка, хотя логика подсказывала, что венок в результате наденут на униярка и именно это придаст ему красоты.

Историй таких можно вспомнить множество. И очень жаль, что с годами наше ухо теряет способность различать эти волшебные вещи в потоке общепонятных банальностей. Хотя бывают, конечно, исключения. Однажды мы сидели за столом с Александром Градским и пили шампанское, не помню уже по какому поводу. Вдруг Градский поднес бокал с вином к уху, глаза его затуманились. Потом Градский сказал: «А ну-ка, Макар, вот мы сейчас проверим – поэт ты или не поэт. На что похож звук?» С этими словами он поднес шипящее шампанское к моему уху. Звук действительно напоминал что-то знакомое. «Может быть, шум стадиона?» – неуверенно предположил я. «Ни хуя ты не поэт! – расстроился композитор. – Вода в бачке так журчит!»

Эта история связана для меня с двумя незабываемыми ощущениями: ясным ощущением ангела за плечами и чувством внезапного острейшего счастья. Возможно, вещи это взаимосвязанные. Во всяком случае, первое обычно влечет за собой второе.

Происходило это дело, кажется, в 86-м году.

Мне предложили записать на фирме «Мелодия» мой первый сольный альбом – «Песни под гитару».

То есть он уже был до этого записан – на полуподпольной студии у Володи Ширкина без всякой, кстати, надежды на дальнейшее его издание. А тут благодаря очаровательной молодой редакторше Нине Кацман, звукорежиссеру Андрею Ветру и всяким перестроечным настроениям (никто толком не знал, насколько открутят крантик, но каждый надеялся на большее) было решено попробовать эту пластинку выпустить, переписав предварительно для лучшего качества звучания – действительно, техническое оснащение «Мелодии» это позволяло. То было золотое время, когда всяческие худсоветы, которые привыкли блюсти идеологическую, а отнюдь не художественную наполненность произведения, из-за происходящих в стране событий совершенно потеряли классовую ориентацию. Я, не скрою, испытывал мстительную радость, когда те же самые товарищи, которые годами до этого заворачивали мои и не только мои песни (сейчас, кстати, уже совершенно непонятно, за что, – тогда еще с некоторым усилием можно было понять), теперь с испуганной улыбкой или со словами: «Ну вот, совсем другое дело!» – подписывали к изданию эти же песни, практически не читая.

В общем, я получил студийное время и Андрея Ветра в придачу, который, питая, по-моему, искреннюю симпатию ко мне и к тому, что я делаю, грозился создать с моим участием шедевр звукозаписи.

Я сам попросил утренние часы – я вообще больше люблю работать с утра. Началась работа – спокойная и не очень сложная. Так как все песни уже были однажды записаны, приходилось заниматься практически повторением пройденного. Все вроде получалось, я успокоился, восторженный студийный трепет, обычно мне свойственный, исчез.

И день на третий вышло так, что я оглушительно напился. То есть не днем, конечно, а ближе к ночи. Не знаю уж, что этому способствовало – то, что я жил на этом отрезке абсолютно холостой жизнью, или внезапный заезд каких-то старых друзей, или моя успокоенность по поводу работы, или что-то еще – не помню. Что-то точно было, иначе не стал бы я так напиваться, тем более в дни записи. Короче говоря, пробуждение мое походило на пробуждение Степы Лиходеева из известного романа, причем настолько, что не вижу никакого смысла описывать это состояние вслед за классиком.

На часах было без четверти десять, а в десять начиналось мое студийное время. Я вывалился на улицу к своим «Жигулям», благо одеваться было не надо. Две чудовищные мысли заслоняли все мое сознание. Первая: я опаздываю. А больше

всего на свете я не люблю опаздывать. Даже пятиминутное мое опоздание на скучную деловую встречу меня же и выбивает из колеи на целый день, а уж опоздание на такое святое дело, как запись, – это просто невозможно себе представить. И второе – даже если я дотяну до студии, смысла в этом не будет, так как нахожусь, по образному выражению одной моей подруги, в кондиции «ни петь, ни рисовать». И вообще, стоит ли в этом случае появляться на людях в таком виде.

Мучимый этими проблемами вкупе с тяжелейшим похмельем, я все же умудрился доползти до «Мелодии», не попав по пути в аварию. Видимо, всю дорогу я молился. Я не видел выхода из ситуации и, очевидно, просил Небо о чуде.

Когда я открыл дверь студии, часы показывали четверть одиннадцатого. Потребовалось некоторое время, чтобы понять: это не у меня в глазах темно – темно в студийном коридоре. По мистическому стечению обстоятельств за пять минут до моего появления на студии пропало электричество. Я осмелел настолько, что посетовал на плохое состояние коммунальных служб столицы и даже иезуитски поинтересовался, скоро ли устранят поломку – что-то внутри говорило мне, что не скоро. И правда – не раньше, чем к вечеру, ответили мне.

После чего я подошел к очаровательной редакторше Нине, взял ее за руку и предложил пойти попить пива. И не куда-нибудь, а в «Жигули» – это тогда было главное пивное заведение Москвы.

Очаровательная редакторша с печальной улыбкой посмотрела мне в глаза и сказала, обнаружив неожиданное знание вопроса, что в это время в понедельник в «Жигули» попасть невозможно – разве что отстояв часовую очередь.

Был и правда понедельник, и большая часть трудовой Москвы поправляла там с утра свое здоровье. Но я уже знал, что чудеса будут продолжаться. И торжественно пообещал редакторше, что никакой очереди мы не увидим и что в «Жигулях» нас ожидает не только свежайшее пиво, но и дефицитная вобла. Меня не покидала странная уверенность, что именно так все и будет. Это было похоже на ясновидение.

Именно так все и произошло. Подходя к заведению, девушка даже предположила, что оно закрыто – ну не бывает в понедельник утром у «Жигулей» ни одного человека! Но двери гостеприимно распахнулись, нас усадили в прохладном зале, а к свежайшему пиву помимо дефицитной воблы подали еще совсем уж невероятных раков. Девушка скоро исчезла, а я сидел, восхитительно медленно приходя в сознание и стараясь запомнить это ощущение ангела за плечом.

Я вспомнил историю, которая произошла лет за десять до этого, еще в институте. Как и у всех нормальных людей, предметы у меня делились на любимые и нелюбимые. К нелюбимым относились точные науки – математика, сопромат и им подобные. (Туда же входила история КПСС, но по другим мотивам). Дело было не просто в нелюбви – при попытке заняться математикой спустя пятнадцать минут я впадал в тяжелое полулетаргическое состояние, из которого вывести могло только немедленное прекращение попытки и кардинальная смена обстановки. Сейчас нечто подобное я испытываю, открывая всякого рода технические инструкции – по обращению с компьютером, например. А тогда утешал лишь тот факт, что после сдачи последнего экзамена по математике уже никакая сила в мире не заставит меня вернуться к постижению этой науки.

Для сдачи экзаменов по нелюбимым предметам я разработал метод, основанный на психологическом проникновении в душу преподавателя. Как правило, было видно, что экзамен доставляет педагогам не больше удовольствия, чем нам, студентам. На дворе стоял июнь, экзамены часто выпадали на выходные дни, и я просто физически ощущал, как хочется нашим профессорам быстрее закончить всю эту бодягу и поехать, скажем, на дачу. Студенты же нервно толпились у дверей аудитории, подталкивали вперед друг друга, держались в коридоре до последнего, а потом часами безнадежно потели над билетом – словом, тянули время.

В коридоре очень важно было выяснить – злой сегодня экзаменатор или не очень. Я же понимал, что злым он становится именно в результате происходящего. И тогда я выбрал прямо противоположную тактику.

С утра я надевал красивый пиджак (у меня был единственный пиджак – но зато с изумрудным отливом, небесной красоты) и смело заходил в аудиторию первым. Я брал билет и, не заглядывая в него, небрежно произносил: «Можно, я без подготовки?» Верите или нет – я всегда ощущал в этот момент флюиды

благодарности, исходившие от преподавателя. Может, и не умом, а сердцем теплел он оттого, что хоть один из этих засранцев бережет его время. Я же понимал, что никакого проку от моего сидения над билетом все равно не будет – знаний не прибавится, а шпаргалки меня никогда не вдохновляли.

Дальше происходило по-разному, но во всяком случае на переэкзаменовку меня не отправляли никогда.

Так вот, я пришел на последний в моей жизни экзамен по математике. От остальных экзаменов по точным наукам он отличался, пожалуй, тем, что там я хоть что-то знал. Набрал побольше воздуху и проделал обычную процедуру. Вопросы в билете с таким же успехом могли быть на китайском языке. Я не помню, что и как я отвечал. Возможно, кто-то говорил за меня моим голосом. В себя я пришел в тот момент, когда преподаватель выводил в моей зачетке «отл». Я вышел в коридор, и сокурсники, зная мою любовь к математике, обступили меня с вопросами: «Ну как?», «Ну что?», «Злой?» Я вынул у кого-то изо рта бычок, сладко затянулся и отправил его в полет щелчком. Пролетев через весь коридор метров двадцать, бычок упал в урну. «Отлично», – произнес я и вышел на улицу.

Удивительно, что в тот момент у меня не было ни малейшего сомнения: окурок попадет в урну. Если бы я захотел, он бы еще мог описать в воздухе какую-нибудь восьмерку. Позже я специально пытался повторить этот бросок. Я не только не мог попасть в урну – бычки до нее просто не долетали.

Я допил пиво и вышел на Арбат. Была середина мая, падал реденький майский дождик, и небо, затянутое полупрозрачными облачками, имело какой-то необычно розовый оттенок. Ясно было – вот-вот выглянет солнце.

А на Арбате было пусто, и посреди улицы стоял джаз-диксиленд, состоящий из пожилых пьющих мужчин, и перед ними на брусчатке – коробочка из-под кефира для денег. Музыканты играли весело и чуть-чуть грустно. Кто-то из них улыбнулся и кивнул мне.

И во всей этой картине с дождиком, Арбатом, музыкой и моим похмельем была такая могучая гармония жизни, что я опять ощутил плечом присутствие ангела и понял, что он специально мне это показывает. Хотелось радоваться и плакать, и это было счастье. Я высыпал музыкантам в коробочку остатки своих денег и,

стараясь не расплескать счастье, осторожно поехал домой.

Кстати, проведя некоторое время в поисках определения счастья и не удовлетворившись ни одним из прочитанных, я вывел свое собственное:

СЧАСТЬЕ – ЭТО ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ЗАПЛАНИРОВАТЬ.

Еще можно рассматривать жизнь как последовательную цепь разочарований.

Человек, только что родившийся, ничего еще не узнавший, не может быть ни в чем разочарован. Первое разочарование приходит вслед за первым знанием (хотя бы в его неабсолютности). В общем,

И свое формируя сознанье

С каждым днем от момента рожденья,

Мы бредем по дороге познанья,

А с познаньем приходит сомненье.

(Совершенно ужасно цитировать самого себя, но это только потому, что я об этом очень давно размышляю – стих был написан лет двадцать назад.)

Детские разочарования – самые яркие. Наверно, потому, что каждое из них – первое. Падать больно, красивая оса жалит, а молоко бывает горячим.

Кстати, лет до пяти я был уверен, что мужчина, как и женщина, дает молоко, так как соски не могут быть просто для красоты, и то, что у меня пока нет молока, – это вопрос возраста, а отнюдь не пола. Периодически я пытался дотянуться губами до собственной груди (по-моему, мне это даже удавалось) и проверял – не пошло ли молоко. Молоко не шло, и скорее вырасти хотелось еще больше. Не останавливал даже страх высоты.

Когда отец брал меня на руки, это было очень высоко и страшно. При этом я понимал, что взрослые все время смотрят на мир именно с этой высоты, и дивился их мужеству.

В первом классе нам показали какой-то учебный фильм про производство колбасы. Помню, фильм меня совершенно потряс.

Конечно, я не думал до этого, что колбасы растут на деревьях или бегают по лесу, но в моем представлении они никак не подходили под категорию продукта деятельности человеческих рук, как, скажем, банка консервов. Банка явно сошла с конвейера и была совершенно обезличена – ничем не отличалась от сотен таких же. Каждый же батон колбасы (особенно копченой) всегда слегка асимметричный, по-своему обмотанный веревкой, как будто его связали, еще когда поймали, а потом уже привезли в магазин, а еще то, что его надо было взвешивать – они и по весу отличались! – все это давало абсолютное ощущение того, что колбаса – создание природы, а никак не мясокомбината. Я долго ходил выбитый из колеи.

В подтверждение тезиса «Я разочаровываюсь – следовательно, существую» (ничего, кстати говоря, пессимистичного в нем нет, если разобраться) приведу наугад еще несколько примеров.

В детстве кажется, что вот среди твоих сверстников есть умные и дураки, а взрослые – умные все. Просто не можешь представить себе взрослого дурака.

С годами, постепенно перебираясь в стан взрослых, с ужасом понимаешь, что тут-то дураков гораздо больше.

Принято считать, что по тому, как женщина танцует, можно определить, какая она в постели. Это, оказывается, не так. По тому, как женщина танцует, можно определить лишь, что она о себе думает. Думает она, как правило, совершенную ерунду.

Казалось, что провинция – это только у нас, такое чисто русское понятие, а там, в Европе, – везде Европа, а в Америке – везде Америка. И это не так. Весь мир на 95 процентов состоит из провинции, и такая же она провинциальная и в Европе, и в Америке, и у нас, разве что там на тротуары не харкают и не какают мимо унитаза.

(В чем тут дело – не пойму. Не в благосостоянии же! Оно ведь на меткость не влияет. Ну прицелься ты и попади!)

Долгое время жили среди всего дешевого. О дорогих вещах ходили легенды. Казалось: дорогое, в отличие от дешевого, не ломается. Оказалось – точно так же ломается. Оно просто дорогое.

Оказывается, обманываешь себя, оставляя что-либо на «потом».

Например, покупаешь какую-нибудь книгу и думаешь, что когда-нибудь потом, когда работы будет поменьше, а свободного времени – побольше, очень приятно будет ее почитать.

Никакого «Потом» не будет. Время идет быстрее и быстрее, и свободного времени будет меньше и меньше, а потом сразу умрешь. А если, не дай Бог, не сразу – все равно будет уже не до книжек.

Так что «Потом» – это утешительная форма «Никогда». И если чувствуешь, что не будешь читать эту книгу сегодня – не покупай ее. Таким образом можно сильно сократить количество ненужных вещей.

Хотел бы я этому научиться.

Казалось бы, с опытом, который неизбежно приходит с годами, поток разочарований должен постепенно иссякать. Ничего такого не происходит – просто сам предмет меняется.

Одно из сильнейших разочарований постигло меня году в 87-м – это был год тотального выхода из подполья нашей рок-музыки. Ошалевшие от внезапной свободы рокеры (не знаю, как другие, а я-то был совершенно уверен, что постылая советская власть простоит еще лет сто – даже смерть какого-нибудь Брежнева производила сильнейшее впечатление, казалось, что он, как библейский персонаж, будет жить восемьсот лет) кинулись записывать альбомы, греметь по стадионам и изумлять заграницу. И мне казалось – вот он, момент истины, сейчас наш замордованный идеологией народ разует наконец-то уши и отвернется с негодованием от кастрированной советской вокально-инструментальной эстрады и двинется с песней за БГ или «Наутилусом».

И действительно, сам факт выхода из подполья (а вовсе не музыка) какое-то время вызывал общенародное изумление. Потом народ зевнул и потянулся к родному.

Нет, конечно, залы не опустели. Но мы-то ждали глобального поворота сознания.

С рокерами осталась та часть людей, которая любила их и до того. С Софией Ротару людей осталось больше. А потом появился «Ласковый май» с фанерой в зубах, и все вообще встало на свои места.

Нет, не ревность душила, клянусь вам, а жуткая обида за зрителя, которого мы вчера считали своим (не своей собственностью, но своим по убеждениям!), – за зрителя, который сегодня с таким наслаждением позволяет себя дурачить.

Удивительное дело, человек, который пишет песни, рисует картины – словом, делает что-то, что собирает вокруг него других людей, – постепенно оказывается в плотном кольце этих людей, искренне им восхищающихся. Человек не может определить толщину этого кольца – он видит только первые ряды. Рано или поздно у него возникает ощущение, что кольцо это не имеет внешних границ и толпа его почитателей простирается до горизонта. А на самом деле кольцо всегда имеет толщину, и, как правило, не такую уж значительную, а дальше – разрозненные кольца других людей вокруг каких-то других деятелей, и между ними – пустые безжизненные пространства.

(Увидев это один раз, я понял, что застрахован от обольщения на всю оставшуюся жизнь.)

Здесь, однако, не следует впадать в другую крайность – иногда кольца самым причудливым образом пересекаются, и уж тут – неисповедимы пути Господни.

Нам свойственно переносить на слушателя все тонкости нашего собственного вкуса. То есть если ваш товарищ, как и вы, любит чеснок, то он обязан любить и варенье, потому что его любите вы. Мало того – он обязан, как и вы, ненавидеть груши.

Это большое заблуждение.

Ваш товарищ ничем вам не обязан и будет с наслаждением жрать груши у вас на глазах. А чеснок вы с ним съедите вместе.

Однажды на рынке ко мне подошла пожилая женщина.

Честное слово, я не люблю, когда меня узнают на улице – не потому, что узнают, а потому, что приходится с улыбкой выслушивать в сотый раз одни и те же слова. Но это была очень приятная интеллигентная женщина, и я остановился.

Она сказала: «Андрюшенька, неужели это вы? Вы извините, что я вас так называю – разница в возрасте позволяет, а потом, вся наша семья уже много лет любит вас и ваши песни! И я сама, и дочка, и оба внука моих – я ведь уже бабушка! И календарь ваш у нас на стене висит, и почти все пластинки есть, и в доме всегда звучит ваша музыка!»

И когда я уже совсем растаял, добавила: «Ваша, и Славочки Добрынина».

Покажите мне человека, который в детстве не мечтал жить вечно! Нет такого человека. Даже если бы желание это не подогревалось всякими сказками – представляете, как это здорово?

Жить вечно, и не стареть, и увидеть, что наконец будет с миром и с человечеством и чем все это кончится, и даже тогда не умереть, потому что ты бессмертный, а значит, это только у человечества все кончается, а у тебя будет что-то еще. В детские годы мне это казалось высочайшим счастьем.

Потом я забыл про это и долго на эту тему не размышлял. Вспомнил, посмотрев фильм «Горец». (Страшно завидую тем, кто смотрит это сегодня в свои двенадцать лет. Почему у нас всего этого не было? За детство счастливое наше спасибо, родная страна!)

А сейчас мне кажется, что такое бессмертие было бы пыткой, и выдержал бы ее сегодняшний человек недолго – во всяком случае, не намного дольше, чем ему было бы отпущено природой в обычном, так сказать, режиме.

Судя по Библии, первые люди жили гораздо дольше нас: по шестьсот-восемьсот лет. Охотно верю. Видимо, настолько же медленней была их жизнь, и событий происходило за шестьсот лет не более чем сегодня за шестьдесят, и так же медленно шло накопление информации. Один темп соответствовал другому.

«Ну да, – скажете вы, – а что же в Древней Греции они жили всего до сорока?» Тут я сощурюсь, сделаю паузу и спрошу: «А вы можете представить себе страну с населением, равным одному микрорайону Москвы, которое всего за триста лет подарило грядущему человечеству практически все, чем оно пользуется по сегодняшний день, – философию, эстетику, поэзию, театр, архитектуру, скульптуру, геометрию? (Думаю, масса вещей, таких, как, скажем, музыка, просто до нас не дошла.)

Причем подарены были не азы, а недосягаемые и сегодня образцы!

Уверен, что жители этой страны должны были жить чрезвычайно насыщенной жизнью!» И вы отойдете, посрамленный.

Пока мы молоды, мы находимся на переднем фланге происходящего, то есть создаваемого.

Совершенно не важно при этом, пишешь ты книги или читаешь написанное другими. Создающие вкупе с потребляющими образуют некий общий культурный слой – толщиной примерно лет в двадцать. За это время обычно успевает созреть новое поколение, которое родит свою эстетику, основанную, конечно же, на отрицании вашей, предыдущей.

Вы оскорблены до глубины души, в которую эти юнцы вам плюют, – вы ведь творили и для них и очень на них рассчитывали! Вы уже забыли, что двадцать

лет назад вы были точнехонько на их месте и ничем от них не отличались – только вы тогда все были в белом, а они теперь в голубом. И старшее поколение очень неодобрительно тогда на вас поглядывало. И казалось оно вам тогда скопищем заскорузлых пердунов, давно забывших свет Истины, а сама Истина в этот момент трепетала если не в ваших руках, то во всяком случае где-то очень неподалеку.

А сегодня поделки этих мальчиков кажутся вам бездарной ахинеей, и вы уже всерьез рассуждаете об общемировом кризисе современного искусства (музыки, литературы, живописи – какая разница!).

Бросьте, товарищ! Это вы просто защищаете эстетику своей юности – охраняете свою поляну. Вам хочется, чтобы ваша юность длилась вечно. Оставьте – ничего не бывает вечно.

Какое-то время нас спасает (и здорово, кстати, обманывает) круг наших старых друзей – мы не замечаем их морщин, они не видят наших. (Правда, если встречаться раз в год, то и это не помогает – все видно.) А еще лет через двадцать, если только эстетический маятник не качнулся обратно и вы не услышали вдруг что-то родное в новомодных напевах, вы уже плохо понимаете, что происходит за окном. И покидаете этот мир в полной изоляции и с некоторой обидой на неблагодарную и деградировавшую молодежь.

Простите меня за такую мрачную картину – я несколько сгущаю краски, и не так все печально, и придут к вам пионеры с цветами и будут, затаив дыхание, слушать ваши рассказы о боевой юности. А потом пойдут слушать свои песни – те самые, которые вы ненавидите. Не сердитесь на них – они ничуть не хуже нас с вами.

А по поводу мирового кризиса – это, по-моему, иллюзия. Вспомните – и в ваше время дерьма вокруг создавалось предостаточно. Хорошего было меньше, а лучшего – совсем немного. И вот спустя годы осталось это лучшее и еще чуть-чуть хорошего. А нам уже кажется, что только из этого все и было сделано. Дерьмо как-то забылось. Забудется и дерьмо сегодняшнее, а останется совсем немного лучшего и, Бог даст, чуть-чуть хорошего. Что именно – посмотрим.

Однажды Митяев привез меня в гости к Окуджаве. Я сомневался, удобно ли – не так уж близко мы были знакомы, но Митяев сказал, что все обговорено и нас ждут.

Знакомство с Окуджавой долгие годы было заочным и односторонним. У нас дома был маленький катушечный магнитофон – как в фильме «Семнадцать мгновений весны» – вещь по тем временам совершенно невероятная. Отец привез его из какой-то загранкомандировки.

Первым делом он пошел с ним в кино и записал всю музыку фильма «Серенада солнечной долины» – там играл оркестр Гленна Миллера. На вторую пленку были переписаны у отца моего друга Димки Войцеховского песни Окуджавы вперемешку черт знает с чем.

Настоял на этом, правда, Димкин отец – мой как-то не интересовался песнями под гитару, он любил джаз.

На пленке были: «Синий троллейбус», «По Смоленской дороге», «Вы слышите, грохочут сапоги», «Ленька Королев» и «Как просто быть солдатом» (очень она тогда казалась антисоветской). С этих песен я и начал чуть позже игру на гитаре – до битлов было еще далеко. Не могу даже сейчас сказать, чем эти песни отличались от того, с чем они были перемешаны (я и не знаю, кто на этой пленке пел какую-то полублатную бузню), просто они были очень хорошие, а все остальные – нет, и в мои восемь-девять лет это было яснее, чем дважды два.

В самом конце семидесятых Лена Камбурова взяла меня на концерт Окуджавы в Студенческий театр МГУ на улице Герцена. (Чудно вспомнить: и улица была еще – Герцена, и театр МГУ – театром, а не церковью.)

Мы пропихнулись через невероятную толпу по парадной лестнице на второй этаж, добрались до своих мест в зале.

Больше всего я боялся, что концерт отменят – это тогда было самым нормальным явлением. Концерт начался, Окуджава замечательно пел, время от времени откладывая гитару и отвечая на вопросы из зала.

Развернув очередную записочку, он вдруг прочитал: «Как вы относитесь к музыке «Машины времени»?»

Окуджава пожал плечами и сказал, что то, что он слышал, ему не близко.

Мне показалось, что весь зал смотрит на меня, я сидел красный как рак.

А Окуджава снова посмотрел в записочку и дочитал до конца: «Ее лидер Андрей Макаревич находится в зале», – и рассердился, видимо, на ситуацию и на себя. «Какая вообще разница, как кто к кому относится?» – сказал он раздраженно. И концерт продолжился. Вторую половину я запомнил хуже.

А потом, спустя много лет, меня представили Булату Шалвовичу (кажется, это было уже на его семидесятилетии). И первое, что он мне сказал: «Ради Бога, извините меня за ту дурацкую историю с запиской на концерте!»

Я вам клянусь – это было одно из самых сильных потрясений в моей жизни. Я-то этот случай помнил, но чтобы помнил он, я не мог даже предположить.

Потом был прекрасный день рождения на маленькой сцене «Театра современной пьесы» – даже не поворачивается язык назвать его юбилеем, настолько все было непафосно. И в конце выяснилось, что на бульваре под театром стоит толпа людей, не сумевших попасть внутрь, и Окуджава позвал Шевчука и меня, и мы втроем вышли к ним на балкон, как прямо совсем уж не знаю кто, и мы с Шевчуком даже что-то такое пели – я все это не к тому вспоминаю.

Прошел еще год, и мы с Митяевым поехали в гости к Окуджаве. Окуджава сидел один в маленьком дачном домике в Переделкине. Он непрерывно курил, тяжело кашлял. Разговор, как это бывает между не очень близкими знакомыми, шел обо всем понемногу.

Я не мог отделаться от ощущения встречи с Учителем, я смотрел на фотографии в рамочках над письменным столом и думал, что и у меня точно так же висят над столом фотографии друзей в рамочках и что как это хорошо и естественно – подняв глаза от работы, видеть любимые лица.

А на другой стене висело множество колокольчиков, и я думал, что и у меня в доме много колокольчиков, только висят они не на стене, а над входом. И что вот сейчас мы сидим рядом с человеком, который гораздо старше и гораздо мудрее нас и который написал гениальные песни, и что сидим мы так в первый

и, может быть, последний раз, и надо попытаться услышать и запомнить все, что он нам скажет.

А Окуджава сказал, что последнее время не очень хорошо понимает, что происходит вокруг. Разговор коснулся политики, и Булат Шалвович спрашивал у нас: «А Чубайс? Он вроде толковый, да? А Гайдар?» Он спрашивал у нас! И это было мое второе потрясение.

Нет-нет, он совершенно не производил впечатления слабеющего умом старика – упаси Бог! Он просто сознавал, что Время за окном для него уже движется настолько быстро, что не все детали различимы.

Я все это рассказываю не для того, чтобы похвастаться знакомством с Окуджавой, а к тому, с чего начал. Если мудрейший человек нашего века к концу жизни признается себе (и нам) в этом ощущении, то что же тогда говорить о нас, остальных? Страшно как раз не это – это нормально. Страшно, когда человек, не желая осознавать своей неспособности угнаться за Временем, выносит приговор Времени, а не себе. Хотя винить не стоит ни Время, ни себя.

Вообще мне кажется, что изобретение хронометра нас сильно сбило с толку. Время – гораздо более сложная, многомерная и необъясненная вещь, и пытаться измерить его с помощью равномерно ползущих по циферблату стрелок или мигающих электронных циферок – все равно что пытаться измерить объем Мирового океана с помощью ученической линейки.

Во всяком случае то, что оно для каждого движется по-своему и зависит это движение от возраста, места, ситуации и еще массы обстоятельств, не вызывает у меня никакого сомнения. И дело тут не в субъективности ощущений, вы мне поверьте.

Кстати, по поводу юбилея – со слов Беллы Ахмадулиной. Накануне семидесятилетия Окуджава позвонил ей и с тревогой спросил: «Как ты думаешь, мне не могут насильно дать какой-нибудь орден?»

Наш дом на Волхонке был совершенно замечательный. Говорю «был», потому что сейчас на его месте стоит его муляж – видимо, по распоряжению Лужкова о сохранении памятников архитектуры Москвы его разрушили и затем

воссоздали – увы, только внешне.

С применением, так сказать, новейших технологий.

А дом пережил пожар 1812 года (он принадлежал князьям Волконским или, по московскому просторечию, Волхонским) и на моей памяти находился в том состоянии, когда ничего нового с ним произойти, как казалось, уже не может. Дважды выселяли из него всех жильцов, а потом и организации, занявшие их место, на предмет крайней аварийности. А дом стоял и стоял. Когда его брались ремонтировать, под желтой штукатуркой открывалась дранка, уложенная крест-накрест и замазанная глиной, и видно было, что дом внутри – деревянный.

В канун одного из таких ремонтов я как раз научился рисовать пятиконечную звездочку, не отрывая руки, и всюду, где можно, оставлял за собой этот нехитрый знак, самоутверждаясь таким образом. Так вот, дом штукатурили, а я пролез между ног рабочих (было мне года четыре) и прутиком начертал на сырой стене несколько кривоватых звезд. Стена высохла, и звезды продержались удивительно долго – лет двадцать. До следующего ремонта. В доме уже давно никто не жил, а я приходил иногда проведать свои звезды.

Цоколь дома красили в серый цвет, а стены – в желтый и старательно белили балюстраду полукруглого балкончика на втором этаже. На балкончике этом, видимо, вечерами пили чай дочки князя Волхонского, поглядывая вниз на гуляющую публику. При нашей жизни этот балкончик уже не открывался и никто на него не выходил. Жалко.

Да и парадный подъезд, как водится, был заколочен наглухо и густо замазан масляной краской – в десять слоев. Жильцы пользовались черными ходами, которыми раньше ходила обслуга. Удивительное плебейство советской власти! Или это сохранившаяся в подсознании боязнь хозяев, которых выгнали из их домов?

А по Волхонке ходил трамвай, и магазин «Продукты» назывался не «Продукты», а – «Бабий магазин», а овощная лавка во дворе за ним – «Дядя Ваня», по имени продавца. Кто сейчас знает, как зовут продавца в овощной лавочке?

А если подойти к краю Волхонки (она ведь, наверное, одна из самых коротких улиц Москвы!), то на углу напротив библиотеки Ленина виделась не покрытая

плешивой травой пустошь, а – аптека. В аптеке работала кассиршей тетя Вера Бендерская – наша соседка по парадному. Один раз она дала мне покрутить ручку кассового аппарата. Аппарат назывался national и являл собой произведение архитектуры – с башенками, колоннами и пилястрами, и все это в сверкающем металле. При повороте ручки в готическом окошечке возникали цифры, раздавался волшебный звук, и на серебряное блюдечко выпадал чек, отпечатанный на толстой синей бумаге. Это было волшебство. Очень хотелось стать кассиром.

А прямо напротив наших окон – там, где теперь какие-то «Соки-воды» – располагалась парикмахерская. Парикмахера звали Абрамсон. Двери всегда были открыты настежь, и седой Абрамсон выносил на улицу стул и сидел на нем, покуривая. Он не был перегружен работой.

Парадное наше находилось напротив Музея изобразительных искусств и имело три каменные ступеньки сразу за уличной дверью. Внутри пол был покрыт асфальтом (вот странно!), прямо по курсу – дверь в квартиру на второй этаж (туда, где балкончик). Я так и не знаю, кто там жил. Слева – тетя Вера из аптеки. И справа – наша дверь.

Черный круглый звоночек с белой эмалированной кнопочкой. К нам – два звонка. Отдельный звонок – к Герчиковым. Они жили особняком. Открыв дверь, вы попадали в длинный и причудливо изогнутый коридор. Стены его были покрыты желтым мелом и в районе телефонного аппарата сплошь исчирканы номерами и именами.

Телефонный аппарат висел на стене и был черным, продолговатым и железным. Хромированный диск его, вращаясь в обратную сторону, издавал удивительно приятный звук.

Нынешние пластмассовые телефоны при всем желании такого звука издать не могут.

А номера были шестизначные и с буковкой впереди. Наш номер – К4-19-32.

На стенах коридора висели велосипеды, банные шайки и жестяная детская ванна – моя.

Еще по левую руку стоял гигантских размеров черный комод (не знаю, чей), а по правой стене шли двери.

За первой дверью жили Марины – баба Лена, дядя Дима, тетя Лена и сын их Генка.

Баба Лена была маленькая согбенная старушка с коричневым лицом и вся в каких-то коричневых платках. Она почти не говорила, появлялась беззвучно, непрерывно курила папиросы и кашляла мужским басом ночью за стенкой.

Она, наверно, была ведьма. Но об этом – позже.

Дядя Дима работал водителем грузового троллейбуса. (Вы знаете, что такие бывают? Я видел!) Был дядя Дима огромен, слегка небрит, хрипл и добр; может быть, по причине постоянного выпивания.

Я тогда не вдавался в такие тонкости.

С дядей Димой связаны у меня три очень ярких воспоминания.

Во-первых, как он катал меня однажды на своем грузовом троллейбусе вокруг Музея изобразительных искусств (поскольку Музей изобразительных искусств был имени Пушкина, то и звали его все для простоты – Музей Пушкина). Меня поразило, что троллейбус может, оказывается, ехать и без проводов, сложив на спине дуги – с помощью аккумуляторов. Я не знал, конечно, что такое аккумуляторы, но заочно проникся к ним колоссальным уважением.

Потом дядя Дима однажды на кухне палил над газом курицу, и хоть убейте меня, у этой курицы были четыре ноги. Тогда меня этот факт не очень удивил, но позже я совершенно безуспешно старался найти ему какое-то объяснение. Мне пытались навязать версию, согласно которой это был кролик. Возможно, но в таком случае это был крылатый кролик.

А еще однажды я заболел ячменем. Коммуналка наша была весьма дружная (не считая Герчиковых), и ячмень мой переживали сообща. Дядя Дима тоже пришел смотреть на ячмень, приблизил свое лицо к моему и вдруг совершенно неожиданно и коварно плюнул мне в глаз. Плевок пах луком и табаком, и я очень

расстроился. Кажется, ячмень прошел.

Со здоровенным Генкой – сыном дяди Димы и тети Лены – мы дружили, хотя Генка был года на два старше, а в этом возрасте это огромная дистанция.

Вторая по счету дверь была наша, а за следующей жила тетя Роза Герзон и дочь ее Галя. У них в комнате как-то по-особенному пахло.

Я вообще в детстве прежде всего замечал запахи.

Приходила к маме подруга ее тетя Вера – и я с диким трудом переносил ее приближение и, не дай Бог, поцелуй – у нее был какой-то неправильный запах. А на коленях бабушкиной сестры тети Эммы я готов был сидеть вечно – так замечательно от нее пахло.

Только не подумайте, что от кого-то воняло, а кто-то благоухал (слово дезодорант, кстати, тогда еще не было известно прогрессивному человечеству!) – речь шла о каких-то очень тонких вещах, и вполне возможно, что, кроме меня, этого вообще никто не чувствовал.

Так вот у Герзонов пахло правильно, и я к ним часто заходил под разными предлогами нюхать этот запах. Обои в комнате были синие с крупными алыми розами, и это мне тоже нравилось. На стене висела «Неизвестная» Крамского, которую называли «Незнакомкой». Мне давали играть: мраморных слоников и удивительные блестящие металлические штуковины, из которых я сцеплял длинные составы и возил их по полу. Об истинном предназначении штуковин я не задумывался. Впоследствии жизнь показала, что это были такие специальные подставочки под столовые ножи. Чтобы, значит, не гадить на скатерть.

За следующей дверью находилась комната Герчиковых. Там жила Алла Петровна и сын ее Алик. Алла Петровна, кажется, была артисткой и находилась в состоянии войны со всей остальной коммуналкой.

Очевидно, это было обязательное явление для любой коммуналки – кто-то с кем-то должен был воевать.

Из кухни постоянно несся крик Аллы Петровны – у нее был густой поставленный голос. Тихие Герзоны так ее боялись, что выходили готовить еду ночью. Время от времени Алла Петровна писала жалобы в товарищеские суды на всех жильцов, включая нас. Суды, видимо, происходили и ничем не кончались.

Рядом с покоями Герчиковых располагались две фанерные дверки – в туалет и в ванну.

Я знаю, что следует писать «в ванную», то есть в ванную комнату, но это была дверь действительно прямо в ванну, никакой комнаты вокруг не было – только серая щербатая раковина.

За соседней дверкой находился серый и пятнистый, как жаба, унитаз и рваная на кусочки газета в клеенчатом карманчике. Запиралось это дело изнутри на неверный крючок, и в остававшуюся щель можно было свободно увидеть, кто же там так долго сидит. Висело тут же два расписания (написанные, видимо, рукой моего отца – твердым архитектурным шрифтом). Одно из них делило утренние часы пользования ванной между жильцами, а второе указывало, какая семья когда моет полы в коридоре и на кухне.

Кухня начиналась сразу, если повернуть налево от двери в ванну. Была она большая, низкая и имела два окна во дворик. (Я их очень любил – всегда было видно и слышно, кто гуляет).

Еще там был чулан и сени в черный ход. В сенях лежали дрова – дом наш отапливался печами, и во дворе стояли сараи для дров, у каждого своя секция с отдельной дверью, и привозили дрова на подводе, в которую была впряжена настоящая лошадь.

Стояли на кухне четыре газовые плиты – у каждой семьи своя. Я сидел на окне и смотрел во двор, а на плитах что-то варилось, пеклось, булькало, соседи делились впечатлениями от похода в «Бабий магазин», одалживали друг у друга муку и спички, строили планы обороны от злокозненной Аллы Петровны. Жили дружно. Это было сорок с небольшим лет назад.

Наша дверь вела не сразу в комнату, а сначала в узенький темный коридорчик. При всей его узости он еще был забит вешалками с пальто, какими-то сундуками

и хламом. Освещался коридорчик тусклой-тусклой лампочкой, но до выключателя я не дотягивался, а окон в коридорчике, естественно, не было.

Я садился в темноте на сундук и боялся щуку.

Щука была нарисована в книжке «Русские народные сказки». Ее держал над прорубью русопятый Емеля, и была она жирная и зеленая, как гусеница. Глаз ее неприятно сверкал.

Я чувствовал, что щука водится где-то в районе коридорчика – возможно, затаилась у стены за вешалкой. Чтобы все обошлось, надо было или очень быстро миновать гиблое место, или уж застыть, не дыша, в полной неподвижности. Неподвижность почему-то гарантировала благоприятный исход в подобных ситуациях. Я расскажу об этом чуть позже.

Так вот, если удавалось проскочить коридорчик, то попадешь в комнату, из которой шла дверь в еще одну – мы по причине многочисленности имели две комнаты.

В двух комнатах жили: я, мои мама и папа, мамина сестра Галя и моя бабушка Маня.

Жила еще, как правило, моя няня. Няня приглашалась не для роскоши – просто мама работала и училась, папа работал, тетя Галя училась, баба Маня работала, и оставлять меня днем было не с кем.

Няни приезжали из деревни и время от времени сменяли друг друга. Сначала была тетя Маша Петухова, потом Катя Корнеева из деревни Шавторка Рязанской области, потом ее сестра Нина.

Как я сейчас понимаю, это был один из немногих способов молодой деревенской девушке попасть в город. Просто так паспорта в деревнях на руки не выдавали, для этого нужно было основание – временная прописка.

А тут уже няня выходила замуж за какого-нибудь солдата, и ее сменяла следующая.

Проводил я с ними дневные часы, но ничего особенно светлого не запомнилось. Помню, как тетя Маша уронила меня с рук на тротуар. Помню вкус разбитой губы и пыльного асфальта. Было мне года два с половиной. Еще помню, как строгая Нина ставит передо мной миску с самой ненавистной моей едой – творогом, растертым в кефире, – и будильник. Чтобы через пять минут все было пусто! В кефире плавают комки от творога, и от них кого угодно может вырвать. Нина исчезает на кухне, и я в полном отчаянии перевожу стрелки аж на полчаса назад и сижу обреченно, не дыша и с творогом за щекой.

Нина, видимо, была не очень сильна в часовой технике, и прошло какое-то время, пока она разгадала мой маневр.

Крики переносил безропотно, но в душе переживал страшно. Я вообще в детстве ненавидел есть. Ненавидел иезуитский прием, с помощью которого меня пытались пичкать. Коровка паслась на лугу, крестьяне ее доили, потом из молочка сделали творог, привезли в город, отец работал на работе, заработал деньги, купил творог в магазине, а ты, сволочь, есть не хочешь? Я мог спокойно принести из детского сада макароны за щекой. Но в детский сад меня отправили позже.

В первой комнате располагались: диван с тяжелыми жесткими подушками и двумя валиками (я любил с ними бороться), черная рифленая печь до потолка, буфет с архитектурными излишествами – тогда других не было, хрущевская мода на «современное» еще не наступила. Потом – окно на Волхонку, потом – пианино «Красный Октябрь» в сером чехле и на нем – телевизор «КВН» с линзой.

Вся квартира (кроме Аллы Петровны, естественно) приходила к нам смотреть телевизор. Что показывали, было совершенно неважно – сам факт какого-то движения на экране являл собой чудо и вызывал радостное изумление.

Еще посреди комнаты стоял старый дубовый стол со стульями. У стола были массивные квадратного сечения опоры, и я очень любил ходить под этот стол пешком – особенно когда приходили гости. Меня не было видно, а мне все было слышно; кроме того, я мог спокойно рассматривать всякие интересные ноги сидящих за столом.

Во второй комнате стояли комод с зеркалом, кровать мамы с папой, кровать моя, письменный стол и раскладушка тети Гали.

Как это все помещалось на десяти метрах, я не понимаю.

Впрочем, раскладушку на день убирали.

Одну стену целиком занимала книжная полка, вторую полку над моей кроватью строили уже при моей жизни.

Одно окно выходило на Музей Пушкина, другое – полукруглым выступом – на угол Волхонки. Дом наш имел очень толстые стены, и подоконники были очень глубокие – почти в метр.

Меня загоняли или относили спать, целовали на ночь, некоторое время я боролся со сном, силясь расслышать, о чем говорят взрослые в соседней комнате, потом проваливался в сон, и как укладываются родители и тетя Галя, я уже не слышал.

Ночью я просыпался оттого, что в комнате происходило страшное. На полукруглом подоконнике за моей головой шла таинственная жизнь. Во-первых, там обитали «огоньки» – маленькие существа, похожие на чаинки в стакане чая, если его размешать ложечкой. Они светились оранжевым светом, беззвучно роились над подоконником на фоне черного окна и иногда неожиданно небольшой стайкой перелетали ко мне на одеяло. Еще на этом подоконнике жили какие-то маленькие матросики – помню, что они были в матросской форме. Они надували небольшие цветные шарики, и у них там шел некий праздник. Они всегда гуляли сами с собой и подоконника не покидали – можно было, скосив глаза и затаив дыхание, наблюдать за их ночным весельем.

Это все были нестрашные обитатели. Но страшные таились рядом, и я это чувствовал. Они всегда входили через дверь и уходили через нее, причем я точно знал, что в нашей второй комнате они не задерживаются, а сразу идут через коридорчик в общий коридор и куда-то дальше. Самый страшный был маленький и очень толстый усатый дядька в красной турецкой шапочке – Тартарен из Тараскона с обложки одноименной книги. Он приходил искать меня, и вот тут-то надо было замереть, не дыша, и не дай Бог, если руки остались поверх одеяла. Я замирал, жители подоконника меня не выдавали, и дядька в конце концов уходил переваливаясь, недовольный. Какое это было облегчение!

Являлась еще соседка баба Лена (не сама она, конечно, а ведьмино ее воплощение). Эта находила меня безошибочно и норовила лечь на меня поверх

одеяла, чтобы придушить. Я делал движение, задыхаясь, и она беззвучно соскальзывала с моей кровати и исчезала в дверях. При этом далекий хор пел что-то вроде «Старушка ушла». Я даже знал ее имя: ее звали Старая Яга Календа. Помню, меня очень интересовало, выдаст ли баба Лена себя наутро каким-нибудь неосторожным взглядом. Но наутро она, как правило, не появлялась, кашляла за стеной.

Однажды, проснувшись утром, довольно долго видел перед собой овальный портрет медведя на ярко-зеленом фоне в богатой золотой раме. Портрет висел в воздухе минут пять и, когда проснулись родители, неохотно растаял.

Все эти ночные чудеса не имели никакого отношения к снам – я бодрствовал, находился в полном сознании и мог, например, разбудить родителей. Я просто понимал, что делать этого ни в коем случае нельзя. Двери в другой мир, которые кто-то приоткрывал для меня, могли захлопнуться с непредсказуемыми последствиями, и я это очень хорошо чувствовал.

Впрочем, если было нужно, эти ночные соседи легко путешествовали в мои сны и обратно. Однажды, когда я болел ангиной (за этим занятием я провел большую часть детских лет), мне приснилось, что я в пижаме сижу на краю стола, передо мной стоят мама с папой и требуют, чтобы я ел мед из пол-литровой банки. В банке сидит маленький чертик, но я, как обычно, не имею права сообщить об этом родителям. Я могу только до последнего момента препятствовать тому, чтобы банку открыли. Так как предлоги мои совершенно неубедительны, банку в конце концов открывают, и чертик молниеносно прыгает ко мне за воротник, скатывается под пижамой вниз и больно кусает в ногу. От своего крика я просыпаюсь, прибегают из соседней комнаты родители, и на моей ноге довольно долго потом держится укус с четкими отпечатками маленьких зубов.

Кстати, совсем необязательно нужна была ночь, чтобы увидеть скрытое. Если я глядел не мигая какое-то время на свет (скажем, на небо), то начинал видеть, что воздушное пространство состоит из великого множества крохотных прозрачных шариков, которые носятся туда-сюда, как молекулы под микроскопом (ни о каких молекулах я еще слыхом не слыхивал), и я точно знал, что это тоже живые существа.

Я мог бы вспомнить множество таких историй. Но вот что мне интересно сейчас. Никогда это не были покойники, привидения или, скажем, наоборот – ангелы в белых одеждах. Это были жители близкого нам параллельного мира – мира

эльфов, троллей и домовых, и, видимо, на этом отрезке жизни мне было дозволено иногда видеть их и слышать их голоса.

С нечистой силой в виде домового, кстати, я столкнулся уже в зрелом возрасте. Жил я к тому времени на Ленинском проспекте совершенно самостоятельной жизнью. То, что разнообразные мелкие предметы то и дело исчезали в доме непостижимым образом, а потом находились в самых неожиданных местах, меня не особенно удивляло. Всегда легче списать на собственную рассеянность, чем на домового, и я не очень-то над этим задумывался.

Хотя веревочку к ножке стола со словами «Домовой-домовой, поиграл и отдай!» привязывал постоянно.

Однажды среди ночи приснилось, что мама, лежа на диване, отчитывает меня за что-то, как водится, а я стою перед ней понуро. От огорчения я внезапно проснулся, не открывая глаз, и через секунду понял, что сна уже нет, а мамина нотация продолжается, причем читают ее прямо над левым ухом, и голос почему-то мужской. Это было так неожиданно, что я открыл глаза и резко повернулся. На кровати около моей головы сидело существо, размерами более всего напоминавшее присевшего на задние лапы кота. Оно было покрыто густой темной лохматой шерстью (мне показалось в темноте – коричневой). Существо испугалось гораздо больше, чем я, и запрыгало по кровати, и я понял, что оно гораздо тяжелее кота таких же размеров. Оно соскочило со стуком на пол и громко ускакало по коридору на кухню, завозилось там в чем-то и затихло.

Интересно – то, что это домовой, я понял как-то сразу, и страха не было. Я встал с кровати и пошел смотреть, где он живет.

Я вычислил это место сразу. В дальнем углу кухни стояли холодильник и узкий шкаф-колонка, в котором хранились всякие крупы и специи. За шкафом в стене располагалось узкое окошко, этим самым шкафом закрытое, а потому нерабочее, то есть функции окна для меня не выполнявшее. Под окошком находилась батарея и небольшая ниша, совершенно мне недоступная. Там было тепло, темно и пыльно. Конечно, парень жил там. Я очень хорошо представил себе, как он сидит вечерами на невидимом мне подоконнике и смотрит на улицу – долго и без особого смысла. С тех пор я старался во время редких уборок обходить этот угол стороной и даже пару раз оставлял молоко в блюдечке на полу.

Хотите верьте, хотите нет, но кражи мелких предметов после этого прекратились.

С лешим была такая история.

В начале семидесятых мы любили своей компанией ходить в Карелию.

Началось с того, что про Карелию Юрка Борзов случайно прочитал в журнале «Наука и жизнь» десятилетней давности – брошенные деревни, пустые деревянные погосты, озера, полные рыбы, и в каком месте надо развести костер, чтобы с того берега приехал на лодке пастух и перевез тебя.

Мы двинулись по описанному маршруту – на поезде до Петрозаводска, оттуда на «Ракете» мимо Кижей (тогда еще заброшенных и совершенно не потоптанных экскурсиями) до Великой Губы, далее – пешком через лес. С собой было взято только самое необходимое – ружье, рыболовные снасти, соль, сахар, чай, вермишель, водка, спички. Пропитание предполагалось добывать самостоятельно, так что никакой это был не туризм, а самое настоящее путешествие.

Часа через два продирания сквозь северный ельник мы вышли наконец на берег огромного Яндомозера. На далеком противоположном берегу виднелись покосившаяся бревенчатая колокольня и черные срубы. Мы разложили костер, накидали в него травы, повалил дым, и с того берега действительно затарахтела моторка. Это было невероятно – мы пользовались инструкциями десятилетней давности!

В лодке сидел пастух. Звали его Женька, и выглядел он совершенным ковбоем – в шляпе невнятной формы, темных очках и с трубкой. «Вина есть?» – воскликнул он радостно. Это звучало как приветствие, и только раза с четвертого мы поняли, что это вопрос и что «вина» на местном наречии – это, по-видимому, водка.

Бутылка «вина» была тут же распита, пастух Женька полюбил нас как братьев и перевез к себе на тот берег, где он жил один среди брошенных невесть когда деревянных домов, оказавшихся вблизи огромными – в два-три этажа, с въездом для телеги на второй этаж, с резными наличниками удивительной красоты.

Часть домов наполовину развалилась, и оставшиеся стены держались неизвестно на чем, а часть выглядела почти целыми. Женька погремел связкой ключей и велел нам выбирать дом для жилья.

Началась прекрасная жизнь. Я ловил рыбу и готовил еду (тогда-то все и началось), Юрка Борзов исследовал местность, а Кавагое охотился. Первую утку стреляли с большой боязнью – непонятно было, можно ли здесь охотиться, есть ли поблизости лесник, да и вообще был не совсем сезон. Выстрел раскатился над озером длинным эхом, и утка пошла в суп. Вечером, как всегда, заглянул пастух Женька – на стаканчик «вина».

(Вел он себя с удивительной деликатностью, вообще северным людям свойственной, – после первой встречи на берегу ни разу не намекнул на «вина», а когда предлагали – отказывался, впрочем, очень недолго – ровно столько, чтобы мы не успели передумать.)

«Стреляли тут, – сказал он, прищуриваясь и неторопливо раскуривая трубку, – слыхали?»

«Слыхали», – дипломатично ответил Кава. И, в свою очередь, спросил погодя: «А что, Жень, егерь-то тут есть?»

«Егерь-то? – задумался Женька. – А есть егерь, конечно, как не быть».

«А кто?»

(Надо сказать, что беседа была истинно северная – шла через очень большие паузы.)

«Кто? (Пауза). А я, наверно, и буду егерь. (Пауза). Ты, что ль, стрелял? Да стреляй, ради Бога!»

Так вопрос с мясом был решен.

День на третий Кава сбил очередную утку, и я посчитал, что она будет хороша в лапше с грибами. За ними я и пошел в лес.

Лес начинался прямо по берегу озера, примерно в километре от деревни. Чтобы не заблудиться, я все время держал озеро в поле зрения – оно было слева от меня. Идя по лесу, поглядывая на озеро, я обошел подряд три заливчика – полукруглые, заболоченные, с березками по берегам, очень похожие друг на друга, каждый метров по пятьдесят шириной. Корзинка была уже тяжелая, день – жаркий и безоблачный, комары и слепни гудели громко и уныло, и я решил искупаться. Я быстро разделся на каменистом берегу, отмахиваясь от кровососов, вошел в темную воду и нырнул – головой вниз.

Глубина начиналась от берега сразу, вода была теплой только на поверхности, а внизу – ледяная, у меня зазвенело в ушах, и вдруг я услышал, как поют русалки. Пели они без слов, но это была песня про всех утонувших в этом озере – за тысячи лет. Голоса под водой звучали так неожиданно и страшно, что я пулей вылетел на поверхность. Над водой никто не пел, лес смотрел на меня мрачно и неприветливо. Я оделся, стараясь не смотреть по сторонам, и заспешил в сторону дома.

Ощущение тревоги не проходило. И деревья, и озеро, и синее небо без облачка – все стало каким-то нехорошим. Довольно быстро я достиг первого заливчика, обошел его почти бегом, спотыкаясь о торчавшие между кочек березовые корни, за ним – еще один и еще один. Дальше должна была начаться прямая дорога к деревне – по берегу. Но на пути возник еще один заливчик – четвертый. Я проскочил его не думая и уперся в пятый. В легкой панике обогнул и его и, выйдя к шестому, понял, что это – второй. Я узнал его по высохшей березе, свисавшей над самой водой. Меня пробил холодный пот.

Озеро все время маячило с одной стороны (теперь, на обратном пути, справа), и хождение кругами исключалось. Это было страшно, может быть, особенно потому, что необходимые элементы мистики и ужаса – полная луна, косматые туманы, вой ветра и уханье филина – отсутствовали напрочь. Я был в полном сознании и абсолютной трезвости, и часы на руке показывали четверть второго пополудни.

Я полез на дерево. Затея дурацкая с учетом того, что я не мастер лазать по деревьям, к тому же в северном лесу все деревья практически одной высоты. Я ободрался об иголки, измазался в смоле, чуть не свалился вниз и ничего не увидел. И тогда я стиснул зубы и решил следовать логике – тупо идти вперед, держа озеро справа, сколько бы глупостей на пути мне ни подкинули. Обошел проклятый заливчик с березой, потом еще один, и вдруг они кончились, и

кончился лес, и замаячила вдали родная деревня. Выглядел я, наверно, убедительно – мокрый, растрепанный и возбужденный невероятно. Рассказ мой восприняли с недоверием, но я настоял, чтобы мы немедленно отправились в заколдованное место и установили истинное количество заливчиков. Кава плюнул и поплелся за мной, чертыхаясь.

Заливчиков, конечно же, оказалось три.

Наш двор на Волхонке, начинавшийся за окнами кухни, тянулся в три стороны, был необъятен, загадочен и манящ. Недавно (совсем недавно – лет десять назад), зайдя туда, я поразился – до чего же он, оказывается, маленький.

Так вот, двор был необъятен. Из окон кухни виделся палисадничек с двумя деревьями. По одному из них было удобно залезать на крышу. Левее – у самых ворот – стояла деревянная будочка, пристроенная к дому. Там жил дворник дядя Гриша.

Вправо от ворот тянулись сараи с дровами. Сараи имели множество дверей, запертых на висячие замки. Внутрь можно было проникнуть через крышу, но, собственно, кроме дров, ничего интересного в сараях не было. Интереснее было под стропилами самого дома – там жили голуби, стояли какие-то сундуки, пахло таинственно. Мы залезали туда по пожарной лестнице или по дереву – однажды родители меня застукали и мне здорово влетело.

Напротив кухонных окон через двор располагался дом Грибоедова. Только тогда еще никто, по-моему, не знал, что он – Грибоедова. Пребывал он в полуразрушенном состоянии, и темные его сводчатые подвалы я хорошо помню. Чуть позже у нас там находился штаб.

А дальше двор перетекал в три рукава. Один вел к высокой решетчатой ограде – за ней жили детдомовские. Мы смотрели на них через прутья – как они там гуляют. Контактов не было.

Средний рукав мимо полуподвальных окон, за которыми жил Серега Дундич, вел к низкому и длинному клубу, где бывали лекции, суды, собрания и иногда после них – кино.

Третий рукав вел мимо пожарной лестницы, подъезда, где жили Алька Лебедев и Вовка Деготь, в арку и выходил на Волхонку в самом ее начале – на травяной склон у «Бабьего магазина».

Я предпочитал играть в ближней части двора – рукава казались мне бесконечными и не лишенными опасностей. Однажды в кирпичной стене дома я нашел застрявшую в ней пулю от трехлинейки.

Захаживали во двор точильщик и старьевщик. Оба предваряли свое появление странным гортанным, почти нечеловеческим криком. Крик повторялся с равной периодичностью и больше всего был похож на древнее злое заклинание.

Мне тогда и в голову не приходило, что это какие-то русские слова. Уже сильно потом, проигрывая их в голове, я понял, что в одном случае это было «Старье берем!» (в одно слово, естественно), а во втором – «А вот точить ножи ножницы мясорубки!»

Точильщик нес на плече точильный станок – деревянную станину с круглыми точильными камнями на оси и педалью. Выходили из домов хозяйки, выносили пучки ножей, точильщик замедлял ход, ставил свой аппарат на землю, давил ногой на педаль, камни вращались, из-под ножей летели искры – это было безумно красиво. В это время точильщик не кричал, а других, человеческих, слов он, видимо, не знал – молча отдавал хозяйкам их ножи, принимал свои копейки, вскидывал станок на плечо и двигался дальше, и уже откуда-то из-за угла снова раздавался его страшный крик.

Мне всегда очень хотелось увидеть его в тот момент, когда он кричит – чем он это делает и какое у него при этом выражение лица, но ни разу так и не удалось. Все слышали, как поет соловей, но никто не видел, какая у него при этом морда.

У старьевщика можно было выменять на старье или купить (нереально! На что?) пугач. Пугач – недостижимая мечта. Это наган, отлитый из олова, он тяжелый и очень похож на настоящий – особенно когда он захватается руками и потемнеет. Он стреляет специальными пробками. Пробки сделаны из глины, заполнены в середине красной серой, похожи на маленькие ватрушки с вареньем. Выстрел по грому, обилию огня и дыма напоминает небольшой взрыв. Но поскольку пробки на вес золота, выстрел производится в исключительных случаях и при

максимальном скоплении народа.

Еще во дворе ценились три вещи: свинчатка (она же битка), карбид и цветные стеклянные камни. Битки делались из расплющенной свинцовой изоляции кабеля. Огромные катушки с этим кабелем стояли тут и там – Москва телефонизировалась. Катушки были деревянные и очень напоминали катушки для ниток – только великанские. Из куска кабеля вынималось нутро, свинцовая кожура его плющилась, складывалась в несколько раз и плющилась снова. Получалась битка. Истинного ее назначения, по-моему, никто не знал (использование в драке для утяжеления кулака я не считаю), но ценилась она весьма высоко. Видимо, предыдущее поколение играло ей в расшибалочку. Мы уже не играли, но память о ценности предмета сохранилась.

Карбид валялся на стройках социализма, которые кипели повсюду, и имел другое длинное название – негашеная известь. Во-первых, кусок карбида можно было кинуть в лужу, и он начинал пузыриться и при этом очень лихо пах. Это уже само по себе было интересно. Во-вторых, можно было поджечь (этим, правда, занимались ребята постарше). Ну, а самые дерзкие набивали карбид в бутылку, заливали водой, затыкали пробкой и ждали, когда рванет. Полученные при взрыве раны являли собой знаки мужской гордости и демонстрировались нам, малолетним, снисходительно.

Стеклянные камни – вещь совершенно особенная. Храм Христа Спасителя к тому времени уже взорвали, а бассейн «Москва» еще не построили, но уже собирались. Котлован был вырыт, и на его откосы привезли и вывалили горы песка. Мы сигали с вершин этих гор в котлован, скатываясь кубарем по песчаному склону и унося значительную часть стройматериала в одежде, ботинках и волосах. Так вот, в этом песке (был он необыкновенно желт) попадались оплавленные куски цветного стекла – не знаю уж откуда. Мы с кропотливостью археологов выкапывали их и собирали коллекции. Существовала шкала цен: помимо разницы в размерах учитывался цвет и чистота. По самому верху шли голубые – они встречались реже всего. За голубой можно было выменять три-четыре желтых или коричневых, или, скажем, хорошую битку. Моя коллекция хранилась в коробке из-под диетических яиц и была самым большим моим сокровищем.

А самокаты? Я ведь совсем забыл про самокаты! Они грохотали тогда по всей Москве. Теперь они уже насовсем ушли в прошлое, как игра в чижа или в колдунчики.

Конечно, это были не самокаты в нашем сегодняшнем понимании. Делались они своими руками, точнее руками родителей. Для изготовления самоката требовались два подшипника – они становились передним и задним колесами. Я не знаю, где обычный человек может взять подшипник. Сегодня, наверно, пойти и купить в каком-нибудь подшипниковом магазине. Тогда таких магазинов не было, но подшипники все где-то находили. По-моему, они просто валялись. Кроме подшипников нужны были две дощечки и дверная петля, с помощью которой они соединялись буквой «Г». Сверху прибивалась перекладина – это был руль. Один подшипник ставился в нижнюю часть доски с перекладиной, а второй – в конец второй доски. Получался самокат. Особенно здорово было на нем лететь вдоль ограды Музея Пушкина в сторону Волхонки – улица имела уклон, самокат разгонялся как бешеный, и подшипники его гремели не хуже настоящего мотоцикла.

У меня довольно долго не было своего самоката и приходилось выстаивать длинную очередь, чтобы прокатиться на чужом. А так как я был самый маленький во дворе (и по возрасту, и по росту), то и оказывался я в самом хвосте. Я упрашивал отца сделать мне самокат, но он возвращался с работы поздно и у него все не доходили руки. И вот однажды он вдруг сколотил самокат на моих глазах. Я плясал вокруг него с нетерпением – очень хотелось скорее во двор со своим самокатом. А папа, закончив механическую часть и проверив машину на прочность, взял черную тушь и кисточку и нарисовал на рулевой дощечке лисью морду и под ней две буквы – «АМ». Это можно было истолковывать и как мои инициалы, и как звук, издаваемый лисой в момент охоты. Такого вообще ни у кого не было! Гордость моя не знала границ. Теперь уже ко мне выстраивалась очередь – покататься. Помню, я очень боялся, что мой легкий, изящный самокат проломится под огромным Генкой Мариным. Но отказать ему не мог.

Из прочих радостей имелся большой зеленый железный грузовик, который дребезжал, как настоящий. (Вообще большая часть игрушек были железные. Появившиеся чуть позже пластмассовые ни уважения, ни доверия не вызывали – они были какие-то ненастоящие.) Остальные игрушки (было их немного) имели домашний характер и на улицу не выносились. Не потому, что мне не велели. Что, например, можно делать на улице с плюшевым медведем?

У плюшевого медведя, кстати, была плохая судьба. Сшит он был, по-моему, из той же ткани, что и диванные валики (да и сам диван), и я был не первым его хозяином – если не мама, то уж тетя Галя владела им в детстве наверняка.

Видимо, задолго до моего появления перелицовывали диван, осталось немного тряпки, и из нее получился медведь. Внутри у него, как у всякого порядочного медведя, находились опилки.

Мама моя, будучи сотрудником Института туберкулеза, компенсировала малое количество моих игрушек кое-какими медицинскими инструментами. Нравились они мне безумно и, конечно, были интереснее любой игрушки – они были настоящие. В моем распоряжении находились стетоскоп, шприц, пара иголок к нему, пинцет, какие-то зажимы. (Еще в доме было два скальпеля и страшная хирургическая пила для пилки костей, но их мне не давали по причине остроты – скальпелем папа точил карандаши, когда работал над проектом, а пилой пилил дрова.)

Утром все уходили на работу, молодая моя деревенская няня убегала пококетничать с солдатами, я оставался один (что мне очень нравилось) и играл во врача. Лечить приходилось медведя – больше было некого. На протяжении года, наверно, я прослушивал его, назначал инъекции и сам же выполнял предписание. (Если бы мне доверили ланцет, я бы, конечно, вскрыл зверя и он прожил бы еще меньше.) Вакцина представляла собой воду – в чистом виде либо подкрашенную акварелью. Уколы делались по-настоящему, иногда по нескольку раз в день. В результате опилки распухли от влаги, медведь заболел внутренним гниением, и продолжающиеся инъекции только ускорили его конец.

Советских яслей я так и не хлебнул – спасали деревенские нянечки. А вот в детский сад меня все-таки отправили – по-моему, не удавалось найти очередную, а все предыдущие выходили замуж с пугающей скоростью. Помню, пришла наниматься какая-то пожилая тетка, и очень она мне не понравилась. Я не мог объяснить, чем именно, и вышел даже скандал с мамой – она считала, что я капризничаю. А прав оказался я – тетка исчезла на следующий день с нашими чайными ложечками.

Я помню, как меня впервые вели в детский сад. Точнее, меня несли. Несла меня баба Маня, которая работала судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом на Петровке, 38, характер имела железный и в нашем доме была безусловным командиром. Не исключено, что именно она решила отправить меня в детсад – приучать к общественной жизни. Спорить с ней было бессмысленно, тем не менее я ревел всю дорогу, умолял не отдавать меня в детсад и, как только баба Маня пыталась опустить меня на землю,

разворачивался и бежал в сторону дома.

Я вообще не мог оторваться от дома до тринадцати лет – в пионерлагере я прорыдал весь месяц. Потом исполнилось четырнадцать, и вдруг все прошло. Странно, что это была тоска не по родителям, а именно по дому – находясь дома, я, например, очень любил оставаться один, пока все были на работе, можно было лазить по взрослым ящикам в комоде, смотреть всякие интересные штуки. Говорят, собаки сильнее скучают по дому, чем по хозяевам.

Детсад находился неподалеку – прямо у Александровского сада, в доме, где в свое время проживала Инесса Арманд. Внутри были высокие сводчатые потолки, воспитательница Жанна Андреевна и неправильный запах. Пахло чем-то медицинским и очень недомашним. Этот запах и отчаяние оттого, что я должен слушаться весь день не маму и папу, а какую-то Жанну Андреевну, преследовали меня все полгода, пока меня туда водили.

По истечении полугода из детсада меня вытурили. И вот почему.

Больше всего на свете я тогда ненавидел есть. Наверно, потому, что меня все время нещадно пичкали чем-то полезным. В доме у нас никогда не относились к еде как к удовольствию – подход был исключительно медицинский, готовили по необходимости и, в общем, невкусно. (Исключение составляли Новый год и дни рождения, когда вертелись всякие салаты – обязательный оливье, лосось из банки с рисом и майонезом, свекла с чесноком, печень трески с яйцом и луком, и было очень здорово наутро после гостей залезть в холодильник и приобщиться ко вчерашнему взрослому празднику. Но бывало это три раза в году.)

Мама со своим сливочным маслом, няня с творогом в одной руке и будильником в другой – все это было ужасно. Но это все-таки был дом – с индивидуальным подходом (ко мне) и с человеческим началом. А тут я попал в советское учреждение, где все должны были быть как все. Прием пищи превратился во что-то вообще невообразимое.

Во-первых, пища была нехороша. Не в смысле, скажем, несвежести – она была приготовлена с большой нелюбовью к тем, кто ее должен был есть. Обязательной дозой рыбьего жира поливали второе (не давать же каждому с ложечки, в самом деле). От запаха рыбьего жира меня рвет до сих пор.

Со сливочным маслом поступали еще лучше – его клали каждому в стакан кофе с молоком или какао (странно, что не в чай), оно там таяло и плавало сверху прозрачной желтой блямбой. Добраться до кофе, не хлебнув при этом масла, было невозможно. Вы хорошо представляете себе вкус этого продукта? Скоро я насобачился быстро, пока Жанна Андреевна отвернулась, вычерпывать масло ложкой и сливать под стол (ложку надо было незаметно оставить, когда убирали тарелки от супа).

С котлетами было сложнее. Сброс их под стол не проходил – за этим делом меня поймали, я был наказан, и после этого следили за мной пристально (насколько это было возможно в условиях – одна воспитательница на двадцать детей). И тогда я придумал и отработал другую тактику. Я поддевал ненавистную котлету на вилку и резким движением отправлял ее в полет через голову – на шкаф, который стоял за моей спиной. Шкаф был очень высокий, и даже Жанна Андреевна не могла заглянуть на его крышу. Операция по метанию котлеты занимала доли секунды, и не промахнулся я ни разу.

Где-то через месяц в столовой запахло покойником, но долго еще работницы детсада не могли понять, в чем дело.

Избавившись от котлеты, я обреченно сидел над макаронами, с которыми ничего уже нельзя было поделать: всех уводили на мертвый час, а я должен был очистить тарелку, я набивал макароны за щеки, как хомяк, и запросто мог прийти вечером домой с полными от обеда защечными мешками.

Иногда, оставаясь в столовой один, я пел – от ужаса и безысходности. Благодаря высоким сводам в столовой была потрясающая акустика – как в церкви.

Все это не могло не закончиться. На шкафу обнаружили склад позеленевших котлет, меня вычислили, я был с позором изгнан из детского сада, и мучениям моим пришел конец.

До школы оставался целый год, и меня отдали «в группу». Это было частное предприятие, содержала его милейшая еврейская старушка Мария Моисеевна.

Выглядело это так. Утром нас, детей (а было нас человек семь-восемь), родители приводили на Гоголевский бульвар, где Мария Моисеевна ждала нас, сидя на лавочке. Каждый приносил с собой бидончик с обедом. Мы гуляли на бульваре

до полудня, потом Мария Моисеевна вела нас к себе домой (она жила в большой старой квартире на Арбате, ходу было пять минут). Там она разогревала каждому его обед, кормила нас и укладывала на мертвый час – у кого была кровать, у кого – кушетка, у кого – раскладушка. В пять часов мы вставали, пили чай, и Мария Моисеевна выводила нас на бульвар – к той же лавочке, откуда нас и разбирали спешащие с работы родители.

Конечно, это был совсем не детский сад. Никто на нас не орал, Мария Моисеевна была доброй, уютной и вообще не повышала голоса, в квартире ее замечательно пахло и похожа она была на комнату наших соседей Герзонов, где я любил бывать, а еда из бидончика являла собой ту частичку дома, которая не давала успеть по нему соскучиться. Поэтому тоска меня не мучила, под лавочкой Гоголевского бульвара мы играли в капитана Немо, и подлавочное пространство было – Наутилус. (К тому времени баба Маня уже подарила мне полное собрание сочинений Жюля Верна в двенадцати томах в великолепном ароматном сером коленкоре. Она думала – на вырост, но я кинулся их читать тут же. Я рано научился читать.)

В конце бульвара вокруг памятника Гоголю стоят четыре фонарных столба. Каждый столб упирается в шар, а шар лежит на львиных спинах. Между передними лапами львов существует маленькая наклонная поверхность – как горка для катания. Помню, я очень любил этих львов и скатывался с горки на заднице бессчетное количество раз. Недавно я пробегал мимо памятника, остановился и подошел к одному из львов. Знаете, какой величины эта горка?

Отношение к Богу складывалось постепенно. Семья наша была отнюдь не религиозная, включая бабушек-атеисток, поэтому разъяснительной работы со мной не вел никто. Церковь в детстве ощущал как что-то неизвестное, возможно, не лишенное интереса, но практически запретное. Ощущение запрета исходило не от родителей, конечно, а от советской атмосферы в целом.

Наверно, если бы у меня тогда возникло желание пойти и посмотреть, что это такое, никто запрещать бы мне это не стал – сводили бы и показали. Но желания не возникало. Впервые в храме оказался, уже учась в шестом классе, когда с родителями поехал на теплоходе по Ладоге и Онеге. Деревянные церкви Севера производили впечатление, но скорее художественное. (Может быть, я смотрел на них глазами отца, а он, конечно, восхищался ими как архитектор.) К тому же, лишенные иконостасов и пребывавшие в состоянии застывшего полуремонта,

они и напоминали скорее памятники архитектуры, чем живые храмы.

Дома у нас стояла фарфоровая туристическая статуэтка Будды – улыбающийся лысый дядька с длинными ушами и толстым голым животиком. Отец привез его из какой-то командировки. Я не знал, что это Будда, и про себя звал его Аллах. Перед тем как уснуть, лежа в постели, я каждый вечер мысленно вел с ним диалоги, обсуждая поступки, совершенные в течение дня. При этом Аллах располагался где-то надо мной – не скажу, что в небе, но определенно выше, чем я, и беседовать приходилось, глядя вверх. Тон беседы всегда был дружественный, он никогда не поучал меня, и улыбка не покидала его круглого лица – просто он мягко высказывал свое мнение относительно проделанных мною действий. Помню, пару раз я с ним даже не соглашался – из принципа. Это был первый опыт общения со Всевышним.

Крестился я уже в зрелом возрасте, полном сознании и по собственному почину; правда, в домашних условиях – дело было еще при советской власти. Мой тогдашний приятель, довольно известный в Москве баптистский проповедник отец Самуил, сказал мне, что в принципе это допустимо. Для совершения обряда был приглашен православный батюшка – молодой, но очень строгих правил. Все человечество он делил на православных и чекистов, и сбить его на какие-то полутона не представлялось возможным. По ходу дела выяснилось, что мой крестный отец Самуил – протестант, и между священниками возник диспут, чуть-чуть не перешедший в конфликт. Момент был выбран очень неудачно – я уже стоял в тазике со святой водой. Сошлись они в конце концов на том, что в детстве и отец Самуил был крещен православной церковью, так что, в общем, ничего страшного нет. С тех пор не одобряю разногласий между христианами всего мира.

Несколько лет в детстве был подвержен странной привычке – произнося любую фразу, я обязательно повторял ее чуть слышно шепотом, почти про себя, еле шевеля губами. Если бы было наоборот – сначала про себя, а потом вслух – такую репетицию я бы еще мог как-то объяснить. А тут я как будто рассматривал внимательно, пробовал на вкус уже произнесенные слова. Это могло войти в пожизненную привычку, но однажды мой дачный приятель Димка Войцеховский заметил эту мою странность и высмеял меня безжалостно. Было страшно стыдно – как будто открылась какая-то моя сокровенная тайна, – и я бросил повторять слова, хотя сначала было трудно, как будто я лишился удобной опоры при ходьбе.

К снам всегда относился уважительно и даже с восхищением; правда, без мистического экстаза. Не сомневаюсь в том, что иногда сны – это неистолкованные письма из будущего, но всяческие сонники, которыми завалены сегодня прилавки, вызывают разве что раздражение. Нас пытаются научить разбирать микроскоп с помощью молотка. Фрейд, выдававший свои собственные комплексы за комплексы человечества, впрочем, тоже не убеждает.

В раннем детстве часто видел один и тот же сон – мы с родителями катаемся на лодке по озеру, внезапно я падаю за борт спиной вперед и сразу ухожу под воду – глубже и глубже. (Много лет спустя, находясь под водой с аквалангом и глядя наверх, я поразился, насколько я видел тогда во сне точную картину – по свету, цвету и т. д.) Это был не страшный сон, наоборот – какое-то сладкое состояние перехода в иной мир и одновременное пробуждение.

Годах в семидесятых мне на протяжении нескольких лет снились рыбы – каждый день. Нет, я отнюдь не был на них помешан, и рыбалкой увлекался в меру, и аквариума-то у меня не было. Вернее, была попытка завести рыбок совсем давно, еще на Волхонке. Мне даже купили маленький аквариум, потом долго промывал песок, отстаивал воду, потом с каким-то дядей Сережей мы поехали на Птичий рынок и приобрели самых простых рыбок – меченосцев. Мы привезли их домой в стеклянной баночке из-под майонеза, выпустили в мой аквариум, и через пять минут они все умерли. Очень я тогда плакал.

Так вот – рыбы снились еженощно в самых разных ипостасях: я разговаривал с ними, ловил их, наблюдал за ними, смотрел, как их ловят другие. Прочитал в каком-то идиотском соннике, что рыбы снятся к беременности, и сильно поразился. Спустя года три рыбные сны так же внезапно прекратились, как и начались.

Несколько раз мне показывали удивительно яркие, запомнившиеся на всю жизнь сны. Вот два из них.

Первый. (На дворе – 1975 год.) Я собираюсь ехать в Париж (в семьдесят пятом такое даже не снилось – в буквальном смысле). Мой товарищ Саша Катамахин

советует мне не ходить с экскурсией по общеизвестным местам, а посмотреть мосты – они в Париже совершенно особенные. Очень точное ощущение погоды – конец марта, снег почти сошел и лежит кое-где серыми кучами, а трава уже начинает зеленеть. Я легко сбегаю с экскурсии и хожу по реке, любуясь мостами. Мосты действительно невероятно хороши – они выполнены из красного декоративного кирпича, как музей Ленина, и то, что я сначала принимаю за отражение в воде, оказывается не отражением, а подводной частью моста, зеркально повторяющей надводную. Вода в реке прозрачная, медленно развеваются длинные зеленые водоросли (как у Тарковского), и я вижу, что под ними все дно реки усеяно сундучками, ларцами, сумками – некоторые из них совсем древние. Я знаю, что существует обычай, по которому после смерти человека то главное, что после него остается – суть его жизни, – укладывается в сундучок и бросается в воду. Мне страшно хочется заглянуть в какой-нибудь такой сундучок, но я знаю, что делать этого нельзя. Поэтому я дожидаюсь, пока на набережной никого не окажется, быстро спускаюсь по газону к реке и сую руку в ледяную воду. Но сундучки лежат глубже, чем мне казалось. Помню неприятное ощущение от намокшего рукава куртки. Потом я оказываюсь в каком-то дворике с круглым фонтаном. Фонтан не работает, но бассейн его наполнен водой, и я вижу на дне те же ящички и мешочки. (Людей умерло столько, что рек уже не хватает, и используется все, что приближается к водоему.) В фонтане уже неглубоко, и я почти готов ухватить что-нибудь со дна, но тут появляется пенсионер в черном пальто – такие сидят на бульварах. Он угадывает мои преступные намерения и начинает гнать меня из дворика, мотивируя это тем, что здесь сейчас будет какое-то мероприятие и вообще нечего мне, иностранцу, тут делать. «Сейчас или никогда!» – думаю я, выхватываю из фонтана первое, что попадает под руку, и взлетаю вверх – невысоко, метров на шесть, чтобы дед меня не достал. В руках у меня черный портфель из искусственной кожи с латунным замком. Из него льется вода. Старик беснуется внизу и, грозя мне кулаком, выкрикивает фразу, смысл которой я много лет потом не мог понять: «Кто сделает это, тот от смерти подарка не дождется!» Чувствуя, что дело зашло слишком далеко, я страшно тороплюсь довести его до конца и открываю портфель. Я ожидаю увидеть там что-то значительное – скажем, книгу или какие-нибудь старинные монеты. Но внутри лежит выеденная половинка ананаса – размокшая шкурка – и алюминиевая вилка из столовой с гнутыми зубьями. От неожиданности я выпускаю из рук портфель, он шлепается прямо под ноги старику, обдавая его брызгами, и тот теряет дар речи от такого святотатства, а я просыпаюсь в сильнейшем смущении.

Второй. (Происходило уже позже – в наше время.) Ангелов на свете столько же, сколько и людей. Они мечтают поселиться на Земле – на одной половине, поделив ее с людьми. Возможно, это произойдет после конца света, когда на Земле останется вдвое меньше людей. А пока ангелам строжайше запрещено посещать Землю и вступать в непосредственный контакт с людьми. Но ангелы страшно любопытны и тайно нарушают запрет, хотя за это их ждет смертная казнь. Для этого существует специальная служба при церквях – это бабки в монашеских одеяниях. Ангел похож на ребенка в возрасте десяти-двенадцати лет, но величиной с куклу, поэтому его можно забить ракеткой для бадминтона или просто мокрым полотенцем (с этими предметами в руках монашки и шастают по городу). Правда, после смерти ангела человек, которому этот ангел покровительствовал, тоже умирает. Ангела звали Ира. Он нес мне записку от какой-то человеческой Иры, то ли художницы, то ли певицы. Я видел краем глаза, что ангел следит за мной, но боится подлететь, рискуя быть замеченным. Я очень сочувствовал ему и боялся за него, но поделать ничего не мог – дело происходило днем в центре города, вокруг была масса людей. Наконец мы очутились в каком-то парке, где народу почти не было, и ангел уже двинулся ко мне, но тут появились бабки-монашки с полотенцами. Они пару раз взмахнули ими, и от маленького создания в белом платье на асфальте осталось мокрое пятно. Почти сразу мне позвонила Ира и между делом сказала, что она не очень хорошо себя чувствует, но это ничего – она полежит денек дома, и все пройдет. Я уже знал, что ничего не пройдет, но не мог сказать ей об этом.

Проснулся с тяжелейшим ощущением непоправимого. Все бы ничего, но одна моя знакомая Ира действительно неожиданно умерла.

С каждым годом я замечаю, что все больше и больше становлюсь похожим на отца. Я говорю что-то и вдруг слышу, что говорю его голосом, его интонациями. Я смотрю на свою фотографию – и вижу его выражение лица. (Правда, что касается похожести голосов, то это у нас обнаружилось давно, и отец очень любил поговорить по телефону с какой-нибудь моей подругой, пока меня не было дома, от моего имени. Фантазию свою он при этом не сдерживал, подруги совершенно терялись, и ни разу потом мне не удавалось убедить их в том, что это был не я.)

В жизни каждого человека есть вещи, которые он не в состоянии оценить объективно, так как даются они один раз и сам факт сравнения невозможен. У меня, например, в школе был прекрасный учитель литературы – Давид

Яковлевич, и литература была у нас самым страшным и интересным предметом. Я считал это само собой разумеющимся и только много лет спустя вдруг понял, как нам повезло и каким мучением была литература для подавляющего большинства советских школьников.

Мы не можем сравнить наших родителей ни с кем – они у нас одни и для каждого самые лучшие. И все-таки мне невероятно повезло с родителями. Родом семья отца происходила из Западной Белоруссии, из хутора в Пружанском уезде. В Москву они переехали в конце двадцатых годов, когда отцу надо было идти в школу.

Деда своего Григория я не застал – он умер до моего рождения (как и второй мой дед – Марк, мамин отец). Говорят, дед Григорий был очень строгий, неулыбчивый человек пуританского склада. В семье его слушались и боялись. Мрачность эта, надо сказать, не передалась моему отцу ни в коей мере. До революции дед работал на Александровской железной дороге (у меня сохранилось его удостоверение личности тех лет), потом был учителем, а после революции стал профсоюзным деятелем. В тридцать седьмом году случилась вещь невероятная – деда арестовали, продержали в камере несколько суток и вдруг выпустили, так ни разу и не допросив.

Мой отец был практически непьющим человеком, но несколько раз, когда он немного выпивал, он задавал мне один и тот же вопрос: не считаю ли я его старым? Когда я однажды поинтересовался, почему его это так волнует, он сказал, что его отец всегда казался ему очень старым человеком, а разница в возрасте у нас была примерно одинаковая.

(Недавно я поймал себя на том, что задаю этот вопрос своему сыну: не старый ли я? «Так, староватый», – дипломатично ответил этот негодяй.)

Мой отец никогда не казался мне старым, хотя ровесником своим я его тоже, конечно, не ощущал. Постарел он вдруг сразу в последние годы жизни – после смерти матери.

За мамой он ухаживал со школы – они оба учились в 57-й школе, рядом с нашим домом на Волхонке, мама на два класса младше. А жила семья отца на другом берегу Москвы-реки, прямо напротив нас – между Домом на набережной (он назывался – Дом правительства) и фабрикой «Красный Октябрь». Удивительно,

что все там давно сломали, а этот маленький домик барачного типа остался – стоит один-одинешенек.

Учась в пятом классе, отец катался на лыжах на берегу Москвы-реки – скатывался на лед (гранитных ограждений еще не было). Лед проломился, и отец, по идее, должен был утонуть, но он умудрился, опираясь на лыжи, выбраться из полыньи и пришел домой, где его страшно выпорол мой дед Григорий. Вообще ему в детстве, как я понимаю, доставалось от отца.

Мама его – моя баба Лида – прожила очень долго. Была она худенькая и очень небольшого роста. Дед Григорий был у нее не первый муж. Она показывала мне фотографию первого мужа. На фотографии стоял на одном колене могучий человек с огромными усами, одетый в майку-борцовку, а через грудь шла шелковая лента, увешанная медалями. Он и был какой-то борец.

Наверно, баба Лида в молодости была необыкновенно хороша собой. Она работала учителем биологии и всю свою жизнь отдала школе и станции юннатов. Имела звание народного учителя СССР и, между прочим, орден Ленина.

Отец окончил школу и поступил в Московский авиационный институт. Он был помешан на самолетах, все время рисовал их и вырезал из липы точные копии. Эта любовь к самолетам осталась у него на всю жизнь – из заграничных командировок он первым делом привозил сборные модели военных истребителей разных стран (у нас это тогда не продавалось), и мы склеивали их в четыре руки и вешали на стену, чему страшно противилась мама – у нее были свои представления об эстетике жилища. Коллекция наша насчитывала около двух сотен боевых единиц и, кстати, жива до сих пор – ее хранит моя сестра.

Из института отца и забрали в армию в сорок первом году. Скоро он стал лейтенантом и командовал артиллерийским расчетом – как я понимаю, ему только-только исполнилось восемнадцать лет. Я не знаю, сколько мой отец пробыл на фронте – теперь уже некого об этом спросить, а сам он не любил рассказывать о войне. Знаю только, что где-то в районе Лодейного Поля на реке Свирь его расчет подорвался на мине, и отца с тяжелым ранением отправили в госпиталь. Произошла какая-то путаница, и домой пришла похоронка. Баба Лида рассказывала мне, что, когда она получила эту бумажку, не дававшую никаких шансов (это даже не без вести пропавший), она ей не поверила – почувствовала, что что-то не так. И через несколько месяцев он вдруг вернулся домой – с орденом, на одной ноге и с деформированными кистями рук.

(Я видел эти руки с детства и был убежден, что они такие и должны быть – и у меня такие будут, когда вырасту.)

Однажды я случайно нашел его записную книжку – он вел ее в госпитале. Там были рисунки самолетов, несколько цитат из книги Каверина «Два капитана» и очень горькие его мысли – он не знал, как показаться моей будущей матери инвалидом, и не был уверен, что она примет его. Ничего подобного вслух я от него никогда не слышал. Но переживал он напрасно. Ей-богу, я очень немного видел людей, которые бы так любили друг друга, как мои отец и мать, – всю жизнь. А сейчас, по-моему, так вообще не бывает, вы уж меня извините. Что-то изменилось в воздухе.

В общем, отец перебрался через Москву-реку в домик на Волхонке. На Соколе находился специальный завод, где ему сделали протез. Однажды, когда мне было лет пять, мы ездили туда вместе – протез надо было менять раз в год – там что-то снашивалось. Ночью протез лежал под кроватью, и я обожал с утра его рассматривать – ненастоящая нога! Он был очень красивый: деревянные части изумительно желтого цвета, металлические детали сверкали хромом, а крепилось все это к человеку широкими ремнями из настоящей толстой кожи.

(Однажды, много позже, я не удержался и сделал из этого ремня ремень для гитары – очень уж мне нравилась эта кожа, ничего подобного нигде нельзя было взять. Я вообще не устаю удивляться, как же быстро человек привыкает к хорошему – ведь ничего нельзя было купить, кроме товаров, необходимых для кое-какого поддержания жизни на биологическом уровне. Все остальное можно было только достать. Или – нельзя достать. Чаще второе.)

Отец вставал утром, пристегивал ногу, надевал сверху брюки и превращался в свободно ходящего человека. Меня, маленького, это всегда радостно поражало. Отец только чуть-чуть хромал, и практически никто не знал, что нога – ненастоящая. Он даже катался на коньках и учил меня – у меня получалось хуже.

В госпитале, где отец лежал после ранения, каким-то образом оказалось пианино, и он научился на нем играть – сам. (Мама, в отличие от него, отучилась восемь лет в музыкальной школе, но к инструменту на моей памяти не подходила – только один раз, когда я потребовал достать ноты песни из кинофильма «Последний дюйм», фильм шел у нас в Доме культуры и техники на

Волхонке, и я умудрился посмотреть его за неделю девять раз. У песни была недежурная и какая-то не наша гармония, и как мы ее с отцом ни подбирали – все получалось чуть-чуть непохоже. Отец достал ноты, и мы с ним попросили маму сыграть нам песню по нотам – отец нот не знал. Песня, кстати сказать, оказалась в до-миноре – не самой удобной тональности для начинающих. Долгое время потом я подбирал что-то и вообще музицировал исключительно в этой тональности.)

Так вот, отец совершенно замечательно играл на пианино. Пианино, как я уже рассказывал, стояло слева у стены, было покрыто серым чехлом и называлось «Красный Октябрь». Подозреваю, что это было не лучшее пианино в мире. Но сравнить его было не с чем. (Вообще массу вещей в детстве не получается реально оценить из-за отсутствия возможности сравнения. Возможность такая приходит позже, и тут-то начинаются разочарования.) Игру отца мне тоже тогда сравнить было не с чем – это происходило позже и постепенно, и никаким разочарованием не пахло.

Сейчас я могу сказать, что по манере это больше всего напоминало Эролла Гарнера – наверно, поэтому отец так полюбил его, когда услышал много лет спустя. Он играл все – «Темную ночь», «Опавшие листья» Ива Монтана, Гленна Миллера (то, что звучало в «Серенаде солнечной долины»), фрагменты из Второго концерта Рахманинова – это было его любимое произведение. Все это игралось с легким свингом и переплеталось друг с другом самым причудливым образом. С этого для меня и начинался день – отец, проснувшись, обязательно садился за пианино.

(Мама вставала раньше и всегда в дикой спешке убегала на работу – ей надо было успеть на электричку, Институт туберкулеза находился на станции Яуза. Я в это время еще дремал и наблюдал мамину спешку сквозь сон. Удивительное дело – я не помню ни одного утра, чтобы мама не опаздывала, и ни одного утра, чтобы отец суетился и спешил, хотя он тоже всегда уходил на работу – просто она у него начиналась позже.)

Игра отца была чем-то неуловимо непохожа на все, что я слышал до сих пор. Когда я стал старше, мне очень хотелось научиться играть так же – легко и свободно, все, что захочешь, и без всяких нот. Я и научился в результате, но все равно не так, как он, – что-то в его манере было неуловимое.

Еще в доме постоянно играли пластинки – отец заводил музыку, как только возвращался с работы, а годам к семи я научился это делать сам. Сначала это был зеленый и овальный, как мыльница, проигрыватель «Юность», потом отец купил и, помню, с огромным усилием притащил домой радиолу «Эстония» – последнее слово техники. Она, безусловно, была мебель – огромная, с полированными деревянными боками и горящим круглым зеленым глазом. Над клавишами, переключавшими диапазоны приемника, находилась черная стеклянная шкала, и на ней – крохотные окошечки ступеньками вверх, и рядом с каждым – название далекого заграничного города: Осло, Рейкьявик, Люксембург – душа замирала от одних этих названий. Под шкалой двигалась светящаяся красная палочка – стрелка настройки. Много раз я подгонял эту палочку к квадратику с именем какого-нибудь сказочного Копенгагена в тщетной надежде услышать его неведомый голос – ничего, кроме помех и «Говорит Москва», не получалось.

А пластинок в доме было множество. Они назывались – «миньон» (меньше диска-гиганта, но больше сорокапятки – вы понимаете, о чем я говорю?), на всех была одинаковая голубая этикетка с надписью «Мелодия, 33 1/3». Эта скорость вращения пластинки появилась совсем недавно, и в самой надписи виделась некоторая гордость за отечественный технический прогресс.

Серия называлась «Вокруг света». Свет делился следующим образом: Болгария, Польша, Чехословакия, опять Польша, опять Болгария, иногда – Франция, и в конце – что-нибудь американское или английское – одно. Естественно, либо народное, либо в исполнении певцов протеста. Сейчас я понимаю, что редкие сподвижники, тайно проникшие в идеологические дебри «Мелодии», специально навешивали ярлык «певец протеста» на какого-нибудь американского артиста, не подозревавшего о присвоении ему этого мужественного звания в далекой России, так как понимали: это единственная возможность протащить его пение на отечественный винил.

Даже в 1968 году, когда – о чудо! – на аналогичном сборнике появилась песня «Битлз» «Girl» (записанная английскими артистами всего за три года до этого) – против нее значилось: Англ. нар. песня. Ну не было другого способа обмануть бдительность засранцев, стоявших на страже советской идеологии. Поэтому я снимаю шляпу перед этими обманщиками – это благодаря им мы в детстве узнали, что есть в мире еще что-то, кроме классики, отечественной эстрады и, пожалуй, еще более уродливой из-за беспомощных дерганий в сторону Запада эстрады наших братьев-социалистов.

В принципе, одной песни «Шестнадцать тонн» на сборнике было достаточно, чтобы понять, насколько плохо на нем все остальное. Песня запиливалась до дыр, звучала на всех танцплощадках, к ней сочинялись какие-то немыслимые русские слова. Впрочем, все это уже было чуть-чуть позже.

Я так и не могу понять, чем объяснялась моя невероятная детская привязанность к дому и родителям. Не могу сказать, что родители меня как-то слишком баловали или сюсюкали – напротив, мать довольно часто бывала строга. С отцом это случалось реже, но боялся я его сильнее. Не могу сказать, что я не в состоянии был вообще расставаться с родителями – оба пропадали на работе, и это было нормально. Я как раз обожал оставаться дома один – особенно когда не было ненавистной няньки (это уже происходило ближе к школе). Можно было спокойно рыться во взрослых ящиках буфета и письменного стола – они были набиты всякими интереснейшими штуками. Однажды в платяном шкафу я нашел огромную плитку шоколада – отец привез ее из какой-то заграницы, и мама тут же ее спрятала – до торжественного случая.

(Мама вообще не могла сразу использовать привезенную вещь и сделать из этого праздник – все сразу пряталось до какой-нибудь даты или для подарка. Лежать это могло годами, и мы с отцом это ее правило очень не любили, но переспорить ее не могли.)

Шоколадина была невероятных размеров – с полменя, в яркой желтой обертке.

Вы вообще себе не представляете, какое впечатление производили те редкие предметы, которые чудом попадали к нам из-за кордона. Глаз был прочно настроен на отечественное – журналы, ботинки, игрушки, машины, пластинки, конфеты, карандаши, носки, рубашки, надписи на вывесках магазинов, – ибо другого не было. Все эти вещи составляли собой плотную и весьма однородную среду. И когда вдруг какой-нибудь предмет оттуда пробивал этот серый занавес, как метеор, – со свидетелем этого чуда мог случиться шок.

(Вы не помните, как толпился народ вокруг первых иномарок на улицах Москвы? Это было совсем недавно. Меня в таких случаях поражало то, что при общих функциях назначения – и наша, и заграничная машина – чтобы ездить, сходство тут же и заканчивалось бесповоротно, и бессмысленно было тратить время на поиски хотя бы одного одинакового винтика: и винтики были совсем другие, и

цвет, и звук, и руль, и сиденья, и фары, и ладно бы просто другие, они были безнадежно лучше, и даже пахло от машины иначе – инопланетно и маняще.)

Как кот, я перевел дух, понюхал шоколадину через обертку и нашел в себе силы положить ее на место, решив, что хватит мне и владения этой тайной – мама не знает, что я знаю, какое у нас спрятано сокровище. Пару раз я этот клад со вздохом навещал, а потом по телевизору показали фильм «Повесть о настоящем человеке». Мересьев полз по заснеженному лесу с перебитыми ногами, и плитка шоколада из боевого запаса практически спасала ему жизнь.

Фильм произвел впечатление. Все последующие дни, оставаясь дома один, я играл в Мересьева. Я ползал по квартире и, какое бы ни выбирал направление, неизбежно утыкался в шкаф с заветным шоколадом. Поскольку к этому моменту я уже детально изучил плитку снаружи и знал, что обертка довольно плотная, я решил однажды, что если ее развернуть аккуратно, отломить один квадратик и снова завернуть, не помяв, видно не будет.

К тому же правила игры в Мересьева просто требовали есть шоколад. Я развернул, отломил, завернул – видно не было.

Дни летели незаметно, игра в Мересьева, подкрепленная заморским шоколадом, не кончалась, и опомнился я примерно через месяц, когда плитка вдруг оказалась вся пустая внутри. Обмерев, я положил пустоту в обертке на место. Было ясно, что игры в Мересьева кончились и грядет что-то страшное. Но пустотелая плитка пролежала в шкафу еще почти полгода (мама была очень запасливая), пока не пришли какие-то очень важные гости. Случился конфуз.

Я так долго с ужасом ждал наказания, что даже не помню, каким оно было.

Все это я вспомнил к тому, что я легко и с радостью оставался дома один, зная, что родители все равно где-то неподалеку и вечером вернутся. Но стоило отцу собраться в командировку, я чувствовал, что близится горе. Он уезжал примерно раз в год на месяц-полтора. И даже сознание того, что он привезет из-за границы (наверно, правильней было бы – «из заграницы») волшебные подарки, не спасало ситуацию. Я крепился до последнего, считал дни (это ужасное занятие – слишком много времени проходит между соседними цифрами), но стоило уткнуться носом в какую-нибудь отцову куртку и вдохнуть запах – слезы брызгали из глаз и остановиться было уже невозможно.

В пионерлагере, куда меня ссылали дважды, я проревел беспрерывно: летом – месяц и зимой – две недели. Это при том, что ехал я туда с самыми радужными надеждами – все только и рассказывали, как это здорово, и лагерь, как я сейчас понимаю, был замечательный – Художественного фонда, – и находился в Тарусе, посреди удивительной природы, на берегу Оки. Я уже был довольно большой мальчик (13 лет!) и в короткие перерывы между слезами пытался понять, что же меня так расстраивает. Ничего не получалось. И лес был волшебный, и дети не такие уж глупые, и вожатые не такие уж строгие и противные, а еда меня вообще не волновала… Но нет, удаленность дома красила все это в черный цвет. Я был, как улитка, которую вытащили из ракушки, а ракушку спрятали.

Я смотрю на сына, который с радостью едет в лагерь и с ней же на лице возвращается, и думаю, что не во всем мы с ним так уж похожи. Наверно, это детская истерическая привязанность к дому впоследствии отозвалась другим концом на нем.

Теперь я очень люблю путешествовать и уезжать люблю гораздо больше, чем возвращаться. За день до возвращения голова уже улетает домой, и все время кажется, что там ждут какие-то неожиданные и неприятные хлопоты. (Чаще всего так потом и оказывается. Идеальная мечта – длинное путешествие из страны в страну без заезда домой. Люблю жить в гостинице. Как Набоков.)

Наверно, дело еще было в том, что я не очень легко находил контакт с другими детьми. К тому же они почему-то всегда оказывались чуть старше меня, а в этом возрасте чуть значит очень много. Да еще я был мелок и застенчив и, конечно, никого особенно не интересовал.

Однажды я оказался в какой-то инфекционной больнице. В палате кроме меня было еще пятеро детей, и то, что мы все лежали и болели чем-то одним, нас как бы уравнивало. Во всяком случае, я почти почувствовал себя в компании. И тут случилось ужасное. Вечером после ужина добрая нянечка гасила свет, и начинались страшные истории – их рассказывали по очереди. В основном это были истории про Шерлохомца. (Думаю, никто не знал, кто такой Шерлохомец, но виду не подавали, и диковинное это имя произносилось с небрежным уважением. Спустя лет десять я узнал, что это был сильно измененный дворовым детским сознанием Шерлок Холмс.) Кроме него в рассказах фигурировали три седых волоска, отрубленные пальцы и прочая нечисть – Конан Дойлем и не пахло.

Если же Шерлохомец как главный герой отсутствовал, то рассказ принимал совершенно бытовую окраску – и это было еще страшнее. Помню чудовищное повествование про нарисованного на стекле дядьку.

«Отцу сосед рассказывал – была у них на стройке история. В общем, пришла комиссия принимать одну новую квартиру, и никто не заметил, что на окне на стекле нарисован дядька. Ну, вселилась семья, и в этой комнате стал спать муж. А ночью он проснулся и видит – дядька сходит со стекла, заходит по стене на потолок и начинает показывать страшные фокусы. Ну, и муж все! – умер от разрыва сердца. А утром пришли – ничего понять не могут: муж мертвый, а дядьку на стекле опять никто не заметил. Ну, и стала там теперь жена спать. А ночью – опять: просыпается она и видит, что нарисованный дядька сошел со стекла, залез на потолок и давай показывать страшные фокусы. Ну и у жены тоже разрыв сердца. Утром глядят – мертвая. Тогда в ту комнату старшего сына положили. Утром глядят – мертвый. Ничего понять не могут. И в общем вся их семья так поумирала. Тогда смотрят – что-то тут не так. И решили оставить в этой комнате на ночь милиционера. Милиционер лег в кровать, притворился спящим, а сам не спит. И среди ночи видит – дядька сходит со стекла, лезет на потолок. Милиционер был храбрый – у него разрыва сердца не случилось, он просто сознание потерял и страшных фокусов не увидел. А утром проснулся, вспомнил все, видит – на стекле дядька, взял и разбил это окно. Ну, и все кончилось тогда. Взаправду была история».

(Интересно, что былинный образ доблестного милиционера встречался в этих ночных рассказах довольно часто даже в сочетании с Шерлохомцем – как гарант подлинности. Да, упал с тех пор в детских глазах престиж советской милиции.)

Но Бог с ним, с милиционером. Я лежал в своей койке и умирал от ужаса.

Ужас был вызван не только самими историями, хотя и ими, конечно, тоже: я понимал, что очередь неотвратимо приближается, и скоро мне придется что-то рассказывать, а я ничего такого великолепного рассказать не смогу. Это был ужас неотвратимого – наверно, самый тяжелый из ужасов.

И когда, наконец, момент настал и все затихли в ожидании (меня ведь уже почти приняли за своего!), я закрыл глаза, натужился и произнес: «Жили-были дед да баба». Повисла тяжелая пауза. Для меня она была длиной в жизнь. Потом старший уныло сказал: «Ну ладно, спим».

Ощущение этого позора не покинет меня до последних моих дней. А ведь ерунда вроде бы, правда?

Поразительно, какой неожиданный приступ горя я вдруг испытал, когда у меня родилась сестра. (Я посчитал бы себя моральным уродом, если бы не наблюдал потом то же самое у других детей.) Мне было девять лет, и мы были на даче, и был вечер, и бабушка радостно сообщила мне, что у меня родилась сестренка.

Я как-то не придавал значения маминой беременности, не думал, чем все это кончится.

И убежал на улицу, потрясенный свалившимся на меня несчастьем.

При этом я совершенно не мог объяснить себе причину этого несчастья – я просто чувствовал, что отныне и навсегда родительская любовь принадлежит уже не только мне, а в первую очередь какому-то непонятно откуда взявшемуся неизвестному мне существу. Я впервые чувствовал себя преданным, брошенным во Вселенной и был безутешен.

Еще раз повторяю – голова в этом процессе совершенно не участвовала, все было на уровне абсолютно животных ощущений. Бабушка так и не смогла понять причину моих слез.

Ощущение горя довольно быстро прошло, хотя любви к сестре первые годы я не испытывал.

На первом году ее жизни случилась дикая и необъяснимая история. Я сидел в комнате на диване (мы уже переехали с Волхонки), а мама несла сестру из ванной в спальню и должна была пройти мимо меня. По мере того как она приближалась, я с ужасом понимал, что сейчас подставлю ей ножку. Я ничего не мог сделать – как будто дьявол двигал моей ногой. Мама споткнулась, полетела вперед и только чудом не упала. Как же меня отлупили! А я был счастлив, что опять могу сам командовать своими ногами и что все удачно обошлось. Очень хорошо помню это ощущение внезапно вселившегося беса и полной своей беспомощности.

Кстати, по поводу бесов и ангелов. Не так давно ко мне в гости приехал из Америки замечательный писатель и добрый мой товарищ Юз Алешковский.

По случаю его приезда мы решили устроить праздник и поехали на рынок. Юз обожает ходить по рынку, и я тоже, так что вдвоем мы уже получали как бы четверное удовольствие. Мы не спеша, обсуждая, что и как мы будем готовить, выбрали и купили мяса, зелени, приправ, молодой картошки, загрузили все это в мой джип и выехали с рынка. Настроение было превосходное, и, выруливая на Дорогомиловку, я произнес что-то восторженное насчет того, как все здорово, и какая дивная погода, и как мы сейчас замечательно все сделаем, и придут друзья, и выпьем, как люди.

С этими последними словами я и въехал в зад одиноко стоящего на светофоре «жигуленка».

Улица была пуста, скорость моя близка к пешеходной, и объяснить произошедшее чем-либо, кроме вмешательства потусторонних сил, я не могу. От слабого удара джип мой не пострадал, но «Жигули» распались на части, как в фильме «Братья Блюз», и открылся крепко держащийся за руль потрясенный их водитель. И он, и «Жигули» его были сильно немолоды, и понятно было, что это первый и последний автомобиль в его жизни.

После того как мы все опомнились, утешили хозяина «Жигулей», пообещав ему склеить его машину на лучшей станции, и отъехали с места катастрофы, Юз посмотрел на меня очень серьезно и сказал: «Запомни, мудило: ангелы слышат мысли, а бесы – слова. Поэтому о хорошем достаточно подумать, трендеть необязательно».

Изо всех сил стараюсь с тех пор так и поступать – никак не научусь.

Мой отец не был диссидентом. Я даже не могу сказать, что он был антисоветчиком. В коммунистическую партию он вступил задолго до моего рождения, и вполне по убеждению, и даже одно время был членом партбюро Архитектурного института, в котором преподавал. Из партбюро его, правда, попросили – на закрытых партсобраниях он тосковал и развлекал себя тем, что рисовал шаржи на прочих заседающих – а шаржи он рисовал гениально. Обычно после собрания выходила стенгазета, где эти шаржи и вывешивались…

Архитектурный институт был очень демократичным заведением. Несмотря на это, однажды секретарю партбюро не понравился шарж. Отца попросили, а заодно и закрыли стенгазету.

Я вообще не понимаю, как эти вольности могли терпеть какое-то время. Советская власть не переносила проявлений чувства юмора, а в особенности – насмешек над собой.

Удивительное дело! Почему тоталитарный режим не терпит улыбки? Ведь именно это его в конце концов и губит. Мне всегда казалось, что если бы твердокаменные наши вожди позволяли хоть чуть-чуть улыбаться и иногда чуть-чуть улыбались сами, их режим мог бы продержаться дольше. Власть сохраняла железобетонное выражение лица, а к людям искусства испытывала глухое и мрачное недоверие.

А поскольку с этой средой нельзя было совсем уже не общаться, то выбирался один Главный Художник в каждом направлении – в живописи, скульптуре, литературе, музыке, и через них власть общалась (в одностороннем порядке, разумеется) со всей остальной творческой интеллигенцией. (Сегодня, кстати, ничего в этом плане не изменилось, во всяком случае в скульптуре и живописи – не буду называть фамилий, ладно?)

У нас в доме лежала большая и яркая книга – «Польский плакат». Отец и привез ее из Польши – у нас такое даже в дружественном польском исполнении не дозволялось. Я обожал эту книгу рассматривать вместе с отцом. Плакаты были разные – кино, театральные, социальные и даже политические. Но все они поражали изобретательностью идей, условностью исполнения и – улыбкой. Они были живые.

А у нас страна была залеплена чудовищными рабочими и колхозницами с яростными взглядами и слоноподобными руками, из которых торчали транспаранты, хлебные колосья и прочие плоды труда. (Я уж не говорю про портреты обоих Ильичей – какой пласт изобразительной культуры ушел в прошлое!)

Недавно в какой-то хронике я увидел Москву семидесятых, уделанную всем этим, и как же стало тоскливо! Юмор же сводился к борьбе с недостатками. Недостатки в основном были зарубежного свойства, и тогда юмор назывался

сатирой.

Придворный карикатурист Бор. Ефимов рисовал скрюченных капиталистов, державших в когтистых лапках то мешок с надписью «100000000», то атомную бомбу, похожую на дыню. Из оскаленных их ртов вместе со слюнями вылетали слова «ложь», «клевета», «холодная война» и «реванш». Тут же, на карикатуре, присутствовала широченная красная ручища, либо сжатая в кулак, либо с указующим перстом – прочь, мол, с картинки, то есть с нашего земного шара. Это было не смешно.

Аркадий Райкин в жутких масках то бюрократа, то склочника, то бракодела боролся с недостатками внутренними – и это был предел дозволенного смеха. (Когда он снял маску и попытался делать то же самое с человеческим лицом, у него тут же начались проблемы.)

Так что если нормальные люди и смеялись, то чему-то очень своему и очень в своих компаниях. На людях следовало не смеяться, а – радоваться. Успехам нашей самой передовой в мире державы, например.

Так вот, отец не был диссидентом.

Хотя я очень хорошо помню (я еще был совсем маленьким), как он возмущался по поводу какого-то фильма: почему, если американский, то – шпион, а если наш – то разведчик? «Прикуси язык!» – кричала баба Маня. Она жила на свете дольше отца и знала, чем кончаются такие рассуждения.

Я представляю, сколько отцу приходилось терпеть от партийных идиотов, курировавших советские экспозиции на международных выставках. Отец и делал эти экспозиции – то была его вторая работа помимо преподавания в Московском архитектурном. Организация называлась – Государственная торговая палата. Одной из функций этой организации являлась демонстрация мощи нашей страны на мирном международном рынке; с этой целью в разных странах как дружественного социализма, так и загнивающего капитализма устраивались выставки, для их художественного решения требовался архитектор, в качестве которого в числе прочих и приглашали моего отца.

Примерно раз в год он уезжал в загранкомандировку – делать выставку.

Тогда загранкомандировка значила нечто большее, чем сейчас. Мать складывала в чемодан отцу консервы, консервный нож, вилку, кипятильник – платили за границей только суточные, а всем надо было привезти подарки. Месяц проходил в мучительном ожидании, и вот отец возвращался (мы ездили его встречать) – на чемодане заграничные наклейки, а внутри!

С каким же трепетом я лез в этот чемодан! Я нюхал вещи, приехавшие из другого мира – это был совершенно незнакомый и прекрасный запах. Шмотки меня мало интересовали – я получал сначала ковбойские револьверы (предварительно заказанные, естественно, причем со всеми деталями – какой ствол, какой барабан, какая ручка да чем стреляет – дети удивительные сволочи!), чуть позже – модели самолетов для склеивания, потом – пластинки, струны, гитары и даже усилители. По-моему, отец все свои суточные тратил только на меня.

Но я не об этом. Я помню, как на одной из выставок (кажется, в Канаде) было необходимо повесить над входом в павильон какую-то брежневскую цитату. У отца она была написана белыми буквами по голубому фону. За день до открытия выставки приехал искусствовед в штатском и потребовал, чтобы цитату переписали – она должна была быть белым по красному, и никак иначе.

Я понимаю, сейчас это как-то даже не смешно. Тогда это было совсем не смешно – командировка могла стать последней.

По-моему, отца спасало чувство юмора. Помню, с каким смехом он рассказывал, как в павильон в раздел пушнины пожаловал сам министр пушной промышленности и распорядился, где что расположить: тут соболя, тут – чернобурка, а тут – онтадра. «Не онтадра, а ондатра», – возразил отец.

Министерская свита замерла. «Ну что вы, Вадим Григорьевич, – снисходительно ответил министр, – я двадцать лет руковожу отраслью. Конечно, онтадра!» Они поспорили, к ужасу министерских шестерок, – никто из них за двадцать лет министра ни разу не поправил.

И все-таки неприятие советской власти возникло у отца совсем по иной причине – сейчас я в этом не сомневаюсь. Внутри у отца был идеальный камертон, настроенный на красоту. Отец не мог провести некрасивую линию – она бы у него просто не получилась. Надо видеть его рисунки, чтобы это понять.

И у отца в голове никак не складывалось: если мы дети самого передового в мире учения, то почему все вокруг такое некрасивое? Почему машины, дома, одежда, фонарные столбы, почтовые конверты, эстрадные певицы, мебель, вывески магазинов, обложки журналов, партийные транспаранты и портреты Ленина – почему все такое уродливое? Это было неприятие советской власти на эстетическом уровне.

Я думаю, что тест на красоту – самый верный тест, чтобы определить, все ли правильно в доме. А вот видеть красоту можно научить только в детстве.

Увы.

Вам никогда, пардон, не казалось, что в словосочетании «альтернативное искусство» заложено что-то не то? Впрочем, так можно скатиться к выяснению вопроса, что мы понимаем под словом «искусство», и проорать друг на друга весь остаток жизни. У меня на этот счет есть собственное определение, но оно исключительно субъективно. Раздражала меня всегда не новизна и революционность формы – это как раз только радовало. Раздражало, что за всем этим делом гораздо легче спрятать собственную бездарность. При работе с формой традиционной этот номер не проходит.

Занимаясь много лет музыкой, я часто замечал с некоторой печалью, что очень немного людей отличают хорошую музыку от плохой. Один мой товарищ, старше меня на пару лет (замечательный, кстати, человек), любил группу «Ласковый май» и все время заводил ее в своей машине, а на мой вопрос, не сошел ли он с ума, отвечал: «А мне нравится!» – и диалог заходил в тупик. Просто в детстве его никто не научил отличать хорошую музыку от плохой. При этом, как ни странно, в других областях все может быть в относительном порядке.

С изобразительным искусством, кстати, еще хуже. Принцип Чехова «и лицо, и мысли, и одежда» тут, к сожалению, не работает. Я часто встречаю образованных людей, они одеваются со вкусом, разбираются в театре, читали все, что нужно, и при этом дома на стене у них висит нечто чудовищное. Я в таких ситуациях смущаюсь и ухожу от разговоров о живописи – ни врать, ни расстраивать людей не хочется, да и никто не просил меня воспитывать их.

Один весьма известный искусствовед по-дружески объяснил мне, что сегодня живопись или графика сама по себе никого не интересует. (Говоря «никого», он конечно, хотел бы подразумевать все прогрессивное человечество, хотя речь на самом деле идет о довольно узком круге людей, именующих себя продвинутыми и задающих тон. Малопонимающим боязно от них отстать – в их представлении это будет отстать от современности.) Итак, сама картина никого не интересует – нужен перформанс. Вот ежели рядом с этой картиной будет играть на арфе карлик и рожать женщина, а на саму картину будет какать попугай – сенсация (в продвинутом кругу, разумеется) обеспечена. Только очень важно, чтобы карлик был лысый, потому что блондин был неделю назад у Иванова (Петрова), и тот играл на лютне, а какали голуби. Все здорово, только не понимаю, нужна ли тут картина, особенно если она никуда не годится, а если она вдруг хороша, то неясно, зачем ей такие костыли.

Советская власть записывала в леваки всех уклонявшихся от принципа социалистического реализма, и они уже вызывали сочувствие и симпатию как смелые люди и борцы с режимом. Это был некий фронт, и кто как рисовал, было вроде не самым главным. Квартирные выставки, подпольные мастерские, километровая очередь в павильон «Пчеловодство» – как же меня туда тянуло!

Советская власть сдохла, и вдруг стало ясно, что никаких индульгенций в плане искусства борьба с режимом не дает. И что фронт – не един, а есть там художники хорошие, а есть – разные. Это, оказывается, очень тяжело, когда не с кем бороться. Продвинутые, не мысля себя вне борьбы, принялись бороться с формой. (Это проще, чем с советской властью, – она не дает сдачи.)

Вся эта тусовка вокруг прогрессивного искусства напоминает мне какой-то садик. Там свои правила, свой язык, свои игры и небывалое высокомерие по отношению ко всем, стоящим за оградой. Интересно, что как только кто-то из садика начинает вдруг интересовать широкую общественность – скажем, его работы появляются на других выставках или вдруг начинают хорошо продаваться, – его тут же с негодованием выпихивают из садика за забор – он стал коммерческий, и я слышу в хоре негодования нотки зависти. То, что при этом художник ни на йоту не изменил своим работам, совершенно неважно – важно, где он с ними оказался. Какая-то в этом есть гадость, ибо видели ли вы художника, который не хочет, чтобы его работы покупали? А если ты действительно этого не хочешь – зачем выставляешься? Выставляйся дома.

Очень похожее происходило в середине восьмидесятых в так называемой Московской рок-лаборатории – последней судорожной попытке умирающего комсомола сплясать кадриль с неформальной молодежью. Чтобы попасть в эту рок-лабораторию, надо было быть альтернативным во всех проявлениях и с презрением относиться, скажем, к «Машине времени» как к зажравшимся и продавшимся ретроградам. Умение петь, играть или сочинять музыку было отнюдь не первостепенной важности вещью. Стоило группе «Браво» обрести популярность, выходящую за рамки этой песочницы, как их дружно облили фекалиями и выгнали из садика – они продались. Оказывается, важно не что и как поешь, а – с какой поляны.

Все-таки страшно интересно – это отголоски классовой борьбы или просто от зависти?

Имел я длинный спор с кинорежиссером Сергеем Соловьевым. Речь шла об одном очень ловком молодом человеке, который вдруг взял и стал концептуальным художником, очень удачно попал в красную волну, которая накрыла Америку, умиленную словами Gorbachoff и Perestroyka (и схлынула, кстати, через пару лет, оставив американцев в некотором недоумении).

Я печалился по тому поводу, что прокатились на этой волне за океан самые ушлые и шумные, убедив на время наивных американцев в том, что они и есть соль русского современного искусства. Они заслонили собой многих действительно хороших художников, которые в это время сидели и рисовали. Соловьев мне отвечал, что победителей не судят и что талант – это не просто нарисовать занимательную картинку, но еще и добиться того, чтобы человечество ее полюбило. Наверно, сегодня дело именно так и обстоит. Но мне все-таки кажется, что это два каких-то разных таланта. И если первый отсутствует, то самые невероятные проявления второго вызывают у меня разве что чувство неловкости за его обладателя.

Победителей, кстати, тоже судят. Их судит Время.

А если вас интересует сугубо мое определение искусства, то звучит оно примерно так: «Искусство есть стрельба в неведомое, где степень точности попадания соответствует степени приближения человека к Богу».

Вот так высокопарно, господа. И если стоящий рядом со мной метко пускает стрелу в цель, мне все равно, какую при этом эстетику он исповедует и какой ширины у него брюки. Тем более мне это безразлично, если стрелы его уходят в «молоко». Согласитесь, господа, что второе мы наблюдаем куда чаще.

Интересно, что мы с отцом никогда не говорили на эту тему. И тем не менее, когда я пишу это, я слышу в голове его голос. Для него не существовало заборов, разделяющих направления и жанры, но искусство от неискусства он отличал моментально и безошибочно. Он не видел противоречий между Модильяни и Рембрандтом – он видел противоречие между ними и Глазуновым.

Еще одна вещь, которая меня поражает, – деление искусства на прикладное и чистое. (Следовательно, прикладное – уже нечистое, понимаете? То есть как бы второго сорта.) О чем вы, господа? О какой такой чистоте? Я, например, не знаю неприкладного искусства.

Потому что музыка – это чтобы слушать. Картина – чтобы повесить на стену и смотреть на нее. Книга – чтобы читать. Я что-то упустил?

Мало того, почти все великие произведения искусства писались на заказ: и мессы Баха, и фрески Сикстинской капеллы, и «Святая Троица», и великий художник никогда не отличался в глазах человечества от великого ремесленника каким-то свечением над головой – этот нимб ему приделали не так давно, лет сто пятьдесят – двести назад. И импрессионисты, которые смели классицистов, так же мечтали продавать свои работы, как и их растоптанные предшественники. (Не всегда сразу получалось – это другой вопрос.) Я не верю художнику, который пишет картины, складывает их за шкаф и говорит, что пишет для Вечности и ничье мнение его не интересует. Я сам иногда повторяю эту фразу (мол, сам знаю, что у меня получается, а что – нет), но, сделав что-то новое, спешу это показать – сначала друзьям, а потом всем остальным. С этого момента моя вещь уже становится прикладной, верно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/makarevich_andrey/sam-ovca

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити